

Лариса Миллер



Звуковая
дорожка

Лариса Миллер

Звуковая дорожка

«Де'Либри»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)5

Миллер Л.

Звуковая дорожка / Л. Миллер — «Де'Либри», 2020

ISBN 978-5-4491-0537-0

«Живой классик», – так называют поэта Ларису Миллер некоторые критики. Это юбилейное издание включает новые стихи 2019 года и избранное за полвека, а также статьи автора о поэзии Набокова, Георгия Иванова, Ходасевича, Тарковского и др., о загадке поэзии «бессловесной», а также о такой прозе (Набоков, Синявский), которая поднимается до высот поэзии.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)5

ISBN 978-5-4491-0537-0

© Миллер Л., 2020
© Де'Либри, 2020

Содержание

I. Стихотворения	9
Новые стихи 2019 года	9
Предновогоднее	9
Я не одна. Я с добрым утром...	9
Всё меньше того, что волнует всерьёз...	9
А день, что только наступил...	10
Все во всех влюблены...	10
Мне есть, чем на свете на этом заняться...	10
Такая юная тоска...	11
Мы только ждём, чтоб нас утешили...	11
Хоть всю надежду отними...	11
Сначала в виде сквозняка...	11
Жить и жить, и тропку мять...	12
Сначала ставят свет, когда кино снимают...	12
А ещё я люблю в море света тонуть...	12
Мне нынче что-то не рифмуется...	13
Что делать, чтоб не принимать...	13
– Привет! Что слышно? Как дела?	13
О, как мне «я» дышать мешает!	14
Об осени пишут в миноре...	14
А боль – она дана нам за...	15
Глухое чёрное пальто...	15
Когда мне плохо, слушаю хиты...	15
Я знаешь почему не ухожу?	16
Мне этой ночью не спалось...	16
Этот день с лучезарной каёмкой...	17
Нет, дни не стали безмятежными...	17
Стихи, любимые, как дети...	17
Не прошлое мы любим, а себя...	18
Мой ангел-хранитель, что душу мне грел...	18
Жизнь – лишь движение души...	18
Ну а теперь немного тише...	19
Вот удивительное дело!	19
За стенкой радио бубнит...	19
Я умею только жить...	20
Я не живу, а маюсь, маюсь...	20
И луч по комнате скользит...	20
Подумать только! Птичьи трели...	21
Ну как же мне не огорчаться?	21
Я – представитель промокашки...	22
А правды нет. Есть взгляд на вещи...	22
Какие там благие вести!	22
А нынче меня бурной радостью встретил...	23
Где любовь, там и свет. Там, где музыка, там и любовь...	23
Живу в старинном поселении...	24
Я родом из той допотопной поры...	24

Где водится счастье, там водятся беды...	25
А рассвет, наступив, всё решил за меня...	25
Ну что ж, идёт процесс познания...	25
Устав от тишины небесной...	26
Все во всех влюблены: деревья – в облака...	26
Кружатся в воздухе снежные крапинки...	26
Из прежних книг: избранное за полвека	27
Всё способно умереть...	27
Сперва снега, а после – таянье...	27
А я пришла сюда за светом...	27
Ну а если я что и открыла, то настезь окно...	27
Небо стоит того, чтобы снова проснуться...	28
Неясным замыслом томим...	28
Не ждать ни переправы, ни улова...	29
О, разнотравье, разноцветье...	29
«Гуляйте, пейте. Я плачу»...	29
Ну вот опять и я и лето...	30
«Тихо, пусто», – подумала я по наивности...	30
Кто подтвердит, что я была?	30
Какая нынче дозировка...	31
Не прекращаются поставки...	31
Говорю уходящему дню...	31
Сказать, каков мой род занятий?	31
И всё это – от полноты...	32
Нам август, уходя, позолотил пилюлю...	32
И золотым дождем прольется...	32
Прозрачных множество полос...	33
Казалось бы, все мечено...	33
Нельзя так серьёзно к себе относиться...	34
Нашел себя? Ну, слава Богу...	34
Так хочется пожить без боли и без гнёта...	34
Тончайшим сделаны пером...	34
Хотите, опишу тоску?	35
Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?	35
Наступают сна неслышной...	35
Столько нежности, Господи. Воздух, крыло...	36
Прости меня, что тает лёд...	36
Я от нежности таю, как тает на солнце снегурка...	36
А мама собирается на бал...	37
Люби без памяти о том...	37
Хоть бы памятку дали какую-то, что ли...	37
А чем здесь платят за постой...	37
Любовь до гроба...	38
Не стоит жить иль все же стоит...	38
Болела моя детская душа...	38
А круг, на котором я плавала, быстро спустил...	39
А тогда, на начальном этапе...	39
То облава, то потрава...	39
Кнутом и пряником. Кнутом...	40

Жить сладко и мучительно...	40
А лучшие из лучших полегли...	40
И в черные годы блестели снега...	41
Россия, ты же не даешь себя любить...	41
Здесь мостик над речкой дощатый и узкий...	41
Пишу стихи, причем по-русски...	41
Такие творятся на свете дела...	42
Перебрав столетий груды...	42
Но в хаосе надо за что-то держаться...	42
Я говорю с пространством, с небом, с Богом...	43
Между облаком и ямой...	43
Откуда всхлип и слабый вздох?	43
Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно...	43
Всем трудно, всем – собакам, лошадям...	44
Полвека мы рядышком – лето, зима...	44
Ей-богу, легче стать любимым...	44
Хоть кол на голове теши...	44
Хорошо быть беглой гласной...	45
Что плакать ночи напролет?	45
Это всё до времени...	45
Ждали света, ждали лета...	46
Не больно тебе, неужели не больно...	46
Время пишет бегущей строкой...	46
Откуда ты?	47
Не мешайте ребёнку сиять...	47
Идти по первому снежку...	47
Творенье – разве это труд?	48
Неуютное местечко...	48
Идут по свету дяди, тёти...	48
Можно вычислить время прилива...	49
Как под яблоней неспелый...	49
И ты попался на крючок...	49
Нет, мы не плачем, мы не плачем...	49
Слова даны, чтоб вечно не хватало...	50
Нетленку пишут на коленке,	50
Четверг пока необитаем...	50
Не договаривают все...	50
Не вмещаю, Господи, не вмещаю...	51
Поверь, возможны варианты...	51
Одинокий лист безродный...	51
А ещё я забыла сказать...	52
Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно...	52
К юной деве Пан влеком...	53
А между тем, а между тем...	53
Нет, музыка вечна. Не вечны певцы...	53
Сколько напора и силы, и страсти...	53
В ночной тиши гуляет ветер...	54
И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей...	54
Боже мой, какое счастье!	55

Что ни сутки, то круглая дата...	55
Я ещё одну минутку...	55
II. Эссе о поэзии и поэтах	56
О, если б без слова...	56
Сиянье им руководит. Георгий Иванов	61
Энергия отчаяния. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич	66
О прозе и поэзии Владимира Набокова	71
1. «И другое, другое, другое»	71
2. «И со мной моя тайна всечасно»[1]	84
«Терзай меня – не изменюсь в лице». Арсений Тарковский и Владислав Ходасевич	87
«Смутный опыт». Владислав Ходасевич и Нина Берберова	95
Перевод с родного на родной	98
Его величество пустяк	100
Несовпадение	103
Бедная, бедная рифма	105
«И всем, чем дышалось...»	108
Приложение	112
Александр Городницкий. (Из выступления на юбилейном вечере 2010 года)	112
Павел Крючков[12]. «Живу на свету»	113
Анатолий Розенцвейг. Из статьи «Я – современник Ларисы Миллер. Заметки благодарного читателя»[13]	114
Юрий Орлицкий. «Хочу остаться живой до самой смерти»[14] (о стихах Ларисы Миллер)	118

Лариса Миллер

Звуковая дорожка



© Лариса Миллер, текст, 2020

© Де'Либри, издание, оформление, 2020

I. Стихотворения

Новые стихи 2019 года

Предновогоднее

Итоги – не итоги,
Но что-то вроде них...
Хромает по дороге
Мой бедный-бедный стих,
Хромает и бормочет,
Бубнит себе под нос,
Задать, наверно, хочет
Извечный свой вопрос:
Зачем, мол, и откуда,
Зачем, мол, и куда,
Какая-то про чудо,
Про счастье лабуда.

31 декабря 2019 г.

Я не одна. Я с добрым утром...

Я не одна. Я с добрым утром,
С его небесным перламутром,
С его непрочной тишиной,
Что вся досталась мне одной.
Как этим всем распорядиться?
От счастья умереть? Родиться?
Родиться вновь на белый свет
В начале дня, на склоне лет?

Всё меньше того, что волнует всерьёз...

Всё меньше того, что волнует всерьёз
До ночи бессонной, до боли, до слёз.
Всё меньше того в ежедневном потоке,
Что манит меня и диктует мне строки.
Всё меньше того, во что тянет вникать,
И тех, кого хочется мне окликать,
И книг, от которых нельзя оторваться,

И дел, до которых мечтаю дорваться.
И всё же их список гораздо длинней,
Чем список мне Богом отпущенных дней.

А день, что только наступил...

А день, что только наступил,
Сквозь темень только проступил,
И только-только здесь обжился,
И здесь едва расположился,
Как вдруг воскликнул: «Мне пора,
А вам – ни пуха, ни пера,
А вам – счастливо оставаться.
Пошёл я в дымку одеваться,
И превращаться во вчера».

Все во всех влюблены...

Все во всех влюблены
Хоть чуть-чуть, хоть немного,
Потому что любовь —
Это то, что от Бога,
Это то, что осталось
От давнего рая.
Если всё-таки жизнь
И поныне живая,
То лишь благодаря
Чувствам тёплым, сердечным,
Что дано испытать
Нам земным и невечным.

Мне есть, чем на свете на этом заняться...

Мне есть, чем на свете на этом заняться.
Мне сны иногда интересные снятся,
Люблю в листопад за листвою следить,
С концами концы обожаю сводить,
Когда у меня вдруг рождаются строчки,
И что удивительно – сразу в сорочке.

Такая юная тоска...

Такая юная тоска,
Такое счастье молодое.
Нить жизни – тоньше волоска,
И это нам грозит бедою,
Поскольку тот, кто хочет жить,
Грустить, безумствовать, влюбляться —
Он обречён за эту нить
Такую зыбкую цепляться.
За летом следует зима,
А нить колышется и вьётся,
И удивляется сама,
Что всё никак не оборвётся.

Мы только ждём, чтоб нас утешили...

Мы только ждём, чтоб нас утешили,
Чтоб нам лапшу на ушки вешали,
Чтоб полоскали нам мозги
И чтоб случались четверги,
Сверкающие после дождичка,
Как та серебряная ложечка,
Что дарят детям на зубок,
Чтоб день, как нежный голубок,
К нам приникал и льнул, и ластился,
И никогда ничем не застился.

Хоть всю надежду отними...

Хоть всю надежду отними,
Она опять к утру вернётся,
Полоской света обернётся
И тихой просьбой: «Обними».
Чей это шёпот? Просьба чья?
А это новый день мой дышит.
И штору на окне колышет,
И чуть касается плеча.

Сначала в виде сквозняка...

Сначала в виде сквозняка
Влетает первая строка,
За нею вслед летит вторая,
Ещё незрелая, сырая.
Когда же строк большая рать,
Ведётся битва за тетрадь.
Вокруг неё они роятся,
Боясь, что мне не пригодятся,
Что мой новорождённый стих
Сумеет обойтись без них.
Строка, боясь, что станет лишней,
Кричит: «Меня послал Всевышний»,
Но я же знаю вид строки,
Что с Божьей падает руки,
Которая, как луч, струится
И быть ненужной не боится.
Моим стихам даруя свет,
Тот, без которого их нет.

Жить и жить, и тропку мять...

Жить и жить, и тропку мять
В день весенний, лучезарный.
Вот бы всё это обнять
Простодушной рифмой парной.
Вот бы жизнь, как вешний луг,
Пахла горестно и мятно,
И, не ведая разлук,
Шла б и шла туда, обратно.

Сначала ставят свет, когда кино снимают...

Сначала ставят свет, когда кино снимают.
В его лучах живут, любимых обнимают.
И ежели царит в душе героя мрак,
То без лучей его не показать никак.
Разлука и любовь, уход и возвращенье —
Всё требует лучей и жаждет освещенья.
И если позабыл, как свет установить,
Придётся весь процесс тотчас остановить.

А ещё я люблю в море света тонуть...

А ещё я люблю в море света тонуть,
Канителиться, медлить, волынку тянуть,
Постепенно, неспешно – куда торопиться? —
В море света войти и в лучах утопиться.
Ну а если и ты утопиться не прочь,
То из белого дня прямо в белую ночь
Мы вдвоём поплывём в той родной части света,
Где проводим с тобой уж которое лето.

Мне нынче что-то не рифмуется...

Мне нынче что-то не рифмуется,
И муза бедная волнуется,
Переживает за меня.
Она ведь знает, что ни дня
Я не живу без строк рифмованных
И без тетрадей разлинованных,
И что-то шепчет-шепчет мне.
А мне охота в тишине
Побыть сегодня. Муза милая,
Не обижайся, легкокрылая.
Побудь сегодня в отпуску
И прогуляйся по леску.
Вдруг тишина благословенная
Откроет нечто сокровенное
Про боль и счастье, и тоску.

Что делать, чтоб не принимать...

Что делать, чтоб не принимать
Всё близко к сердцу?
Какую надо закрывать
Плотнее дверцу?
Куда не следует ходить
И с кем водиться?
Детей не следует родить?
Самой родиться?

– Привет! Что слышно? Как дела?

– Привет! Что слышно? Как дела?
– Вот слышен ветер за окошком,
Который шарит по дорожкам.

Вот клён, раздетый до гола,
Под ветром жалобно скрипит.
Вот крыльями ворона машет,
Вот жухлый лист на ветке пляшет,
И дождик всё это кропит.
Вот день почти что пролетел.
Пожалуй, всё из важных дел.

О, как мне «я» дышать мешает!

О, как мне «я» дышать мешает!
То смысла здорового лишает,
То мрачно шутит, то нудит,
То строки слабые родит,
То слёзы крупные роняет.
Короче, всё мне заслоняет
И не уходит от меня
Ни ночью, ни средь бела дня.
Уже все годы пролетели,
А как оно **на самом деле**
Я до сих пор не поняла.
Уже все силы извела,
Уже почти дошла до края,
А что такое явь земная
Понять я так и не смогла.
С какого ни зайду угла
И где ни встану: выше, ниже —
Я всё равно себя лишь вижу.

Об осени пишут в миноре...

Об осени пишут в миноре.
Мол, света и лета конец —
Досада и чуть ли не горе
Для жаждущих счастья сердец.
Мол, боязно листьям до дрожи
Кружиться в осеннем луче.
И я ведь как будто про то же,
Но только в мажорном ключе.
Лист падает, я поднимаюсь,
Он — долу, а я вот — горе'.
Проснусь и тотчас принимаюсь
Писать о счастливой поре.

А боль – она дана нам за...

А боль – она дана нам за
Возможность видеть то и это,
Возможность дотянуть до лета,
Где вместо крыши – бирюза.

А боль – есть регулярный взнос,
Вернее, что-то вроде взноса,
Который здесь взимают с носа.
Ведь мы живём в долине слёз.
Хоть временами в горле ком,
Ищу кому бы за бессмертье
Шальную денежку в конверте
В кармашек опустить тишком.

Глухое чёрное пальто...

Виктору Андрониковичу Мануйлову

Глухое чёрное пальто,
Ушанка старая, калоши...
И был он слушатель хороший.
Ну кто ещё так слушал, кто
Чужие юные стихи?
Ну кто ещё так волновался,
Коль звук живой вдруг раздавался
Среди словесной чепухи?
Ну кто ещё так словом жил,
Так жил волшебной русской речью?
Как жаль, что я его не встречу
Средь ленинградских старожил.
Жалею не о временах,
Исконно неблагополучных,
А лишь о редкостных и штучных
Полузабытых именах.

Когда мне плохо, слушаю хиты...

Когда мне плохо, слушаю хиты —
Те песни, что заезжены, запеты.
Кому-то вторя, вопрошаю: «Где ты?»
Клянусь, кому-то вторя: «Только ты!»

Беру чужую песню напрокат.
А как ещё мне с жизнью объясниться,
Где счастья нет, покой всего лишь снится,
И за рассветом следует закат?
И почему-то бедному клише,
Которое затаскано, затёрто,
Дано сегодня на разрыв аорты
Мне всё поведать о моей душе.

Я знаешь почему не ухожу?

Я знаешь почему не ухожу?
Я много здесь такого нахожу,
С чем ну никак не в силах я расстаться,
Поэтому решила здесь остаться.
И если говорить о мелочах,
То я люблю прогулки при свечах,
Особенно, когда их треплет ветер.
А для меня гулять при зыбком свете,
Как видеть сладкий и тревожный сон.
Ещё люблю Дассена и шансон,
Особенно вот этот, горьковатый,
Разлукой неминуемой чреватый,
Хоть он поёт: «Салют. И снова я».
Ещё люблю небесные края,
Которые светлеют в час рассвета.
Короче, я люблю и то, и это,
И это всё лишь мизерная часть
Всего того, что не должно пропасть,
Всего того, что в этом мире держит,
И горечь расставания содержит.
И я, чтоб эту горечь заглушить,
Решила здесь как можно дольше жить.

Мне этой ночью не спалось...

Мне этой ночью не спалось,
А утро всё равно сбылось,
А утро всё равно явилось,
И занавеска оживилась
От утреннего ветерка.
Наступит день наверняка,
И даже, можно побожиться,
Наступит время спать ложиться.
Всё происходит по часам.

Лишь человек не знает сам,
Что будет с ним через минуту,
Чем постоянно вносит смуту,
Тоску, отчаянье и боль
В земную бrenную юдоль.
С ним может всякое случиться.
Ему так просто очутиться
Там, где его и не найти —
Вне зоны действия сети.

Этот день с лучезарной каёмкой...

Этот день с лучезарной каёмкой.
Пожалей ты его и не комкай.
Он, чтоб время с тобой провести,
Засветился в районе шести.
Ты расправь его тёплой ладошкой
Вместе с небом его и дорожкой,
По которой так сладко петлять,
Любопытство своё утолять.

Нет, дни не стали безмятежными...

Нет, дни не стали безмятежными,
А просто краски стали нежными,
Которыми люблю писать,
Чтоб от чего-то неизбежного
Себя и ближнего спасти,
Чтоб злую участь не оплакивать,
Платочком мятым не промакивать
Слезу, что льётся по лицу,
А только радостно поддакивать
Неутомимому Творцу.

Стихи, любимые, как дети...

Стихи, любимые, как дети,
Всегда идут в одном пакете
С бессонницей, с дрожаньем рук,
С коленкой, заболевшей вдруг,
С хроническим нейродермитом,
С тахикардией и колитом.
Вообще, больные потроха —

Прекрасный стимул для стиха.
Он, налетавшись в темпе presto,
Садится на больное место, —
К примеру, нынче на плечо, —
И что-то шепчет горячо.

Не прошлое мы любим, а себя...

Не прошлое мы любим, а себя.
Ведь в прошлом остаются нас кусочки.
Ведь там мы чьи-то дочки и сыночки.
Да можно ль жить, бывшее не любя?
Мы там в панамках, с чёлкой, с хохолком,
У мамы и у бабушки на ручках.
Ах жизнь, ты так сильна в подобных штучках!
Вон абажур висит под потолком —
Оранжевый, с линялой бахромой,
Качается, зовёт меня домой.

Мой ангел-хранитель, что душу мне грел...

Сыну Илюше.

Мой ангел-хранитель, что душу мне грел,
Он сам неожиданно вдруг заболел,
И крылья свои он с трудом поднимает,
Но мне он по-прежнему чутко внимает.
На помощь ко мне, как и прежде спешит,
Крылом неподъёмным, как прежде, шуршит.
Скажите, где ангелов хворых латают,
Когда они выдохлись и не летают?
Где могут крыло, что меня берегло,
Сегодня заботливо взять под крыло?

Жизнь – лишь движение души...

Жизнь – лишь движение души.
«Ну вот его и опиши», —
Мне кто-то приказал когда-то.
И вот с заката до заката
Пытаюсь описать я то,
Чего не видывал никто,
Но без чего нам не живётся,

Не плачется и не поётся,
И что останется от нас,
Когда растает дней запас.

Ну а теперь немного тише...

Ну а теперь немного тише
Добавлю к сказанному выше,
Что, откровенно говоря,
Мы всё же мучались не зря.
И хоть бывало и роптали,
Но всё-таки душой летали,
Летали на больших крылах
Из пункта «Ох!» до пункта «Ах!».
Летали, не пугаясь риска.
И эти строки – лишь приписка,
P. S., приписка и предлог
Поговорить про лёгкий слог.

Вот удивительное дело!

Вот удивительное дело!
Я ни к чему не охладела.
Хотя живу сто тысяч лет,
Но свой очередной рассвет
Встречать совсем не расхотела.
И надо ж было так подсесть
На эту жизнь, что нынче есть,
Что нынче есть, а завтра нету,
На эту зыбкость, горечь эту,
Которую нельзя заесть.

За стенкой радио бубнит...

За стенкой радио бубнит.
О, злой рутины злые звуки!
Я взять себя пытаюсь в руки.
Но кто помехи устранил?
О, как же всё-таки легко
Из колеи нас, бедных, выбить —
Расстроить нас, взъерошить, вздыбить.
Как до покоя далеко!
Как мал терпения запас!

Как мы подвержены, подвластны,
Слабы, зависимы, несчастны...
А, может, счастливы как раз,
Что тёмной ночью, белым днём
Мы каждой клеточкой живём?

Я умею только жить...

Я умею только жить,
Если что-нибудь умею.
Просыпаюсь и пьянею
От возможности кружить
В окружающей среде,
В ослепительном пространстве,
Приспособленном для странствий
Душ и тел неведомо где.
И за эту благодать,
За счастливую возможность
Жить, изведав лёгкость, сложность,
Я готова жизнь отдать.

Я не живу, а маюсь, маюсь...

Я не живу, а маюсь, маюсь,
И кое-как перемагаюсь,
И, хоть сама с трудом хожу,
Словам пристанищем служу.
Они внутри меня гнездятся,
Из них стишки мои рождаются.
И я, проснувшись где-то в шесть,
Словам рискуя надоесть,
Им навязав свои порядки,
Велю им, день начав с зарядки,
Не только темпа не снижать,
Но и улыбочку держать.

И луч по комнате скользит...

И луч по комнате скользит
Бесшумный, кроткий...
Наверно, ангел мне визит
Нанёс короткий.
Визит коротенький такой,

Почти незримый,
Вдруг поселил в душе покой
Необъяснимый,
Хоть для него, пожалуй, нет
Причины веской.
Ну разве что небесный свет
За занавеской.

Подумать только! Птичьи трели...

Подумать только! Птичьи трели —
Они совсем не устарели,
И юным кажется рассвет,
И небу тоже сносу нет.
Кто в прошлом дне не застревает,
Тот сроду не устаревает.
Я тоже девочка внутри.
На внешний облик не смотри.
И назначает мне свиданье
Не кто-нибудь, а мирозданье.
Хоть я ещё объята сном,
Оно маячит за окном.

Ну как же мне не огорчаться?

1.
Ну как же мне не огорчаться?
Ведь не кончает жизнь кончаться.
Уж сколько зим и сколько лет
Я ей с тоской гляжу во след,
Твердя с заката до заката:
«Куда ты, жизнь моя, куда ты?
Так быстро дни твои бегут!»
И слышу вдруг: «Да тут я, тут!
Смени пластинку, коль заела.
Кончай канючить. Надоела».

2.
И это всё штрихи к портрету,
Которого покуда нету.
Есть только контуры одни,
Но ненадёжны и они.
Есть лишь намётки и догадки.
А жизнь бежит, сверкают пятки.
Я говорю ей: «Ну постой,

Ведь ждёт тебя мой холст пустой.
Я твой портрет писать мечтаю».
Она: «Пиши, пока летаю.
Пиши меня, мой бег любя.
Остановлюсь – и нет тебя».

Я – представитель промокашки...

Я – представитель промокашки,
Чернильных клякс, игры в пятнашки,
Я – представитель чуть живой
Почившей ручки перьевой.
Я – представитель всех пропавших
Вещей, в бою неравном павших,
Всех, проигравших тихий бой
С эпохой, временем, судьбой.

А правды нет. Есть взгляд на вещи...

А правды нет. Есть взгляд на вещи.
Есть добрый взгляд и взгляд зловещий,
Взгляд равнодушный, взгляд живой,
Открытый взгляд и взгляд кривой.
Взгляд тех, кто смотрит как-то косо
И кто не видит дальше носа.
О мир, какой же ты? Ответь.
А он: «Не знаю. Как смотреть».

Какие там благие вести!

Какие там благие вести!
Уж я не жду благих вестей.
Я жду хороших новостей
Вот в этом разнесчастном месте.
Я жду, что кончится «вчера»,
Настанет новая эпоха.
На смену той, где было плохо,
Придёт счастливая пора.
Помолодеют старики,
Которым светит долголетье,
И будут радостные дети
Играть у солнечной реки.
И воздух чист, как поцелуй,

Струиться будет и струиться.
Он осчастливить нас стремится
При помощи целебных струй.
И – вот уж чудо из чудес —
Все друг на друга смотрят нежно,
И в то, что счастье неизбежно,
Не верит только мракобес.
Короче, где я? Что за сон?
Я на какой попала шарик?
Вот вижу я летит комарик,
Вот слышу грай родных ворон.
Неужто это та страна,
Что так народ свой не любила?
Что столько душ и тел сгубила?
Неужто это всё она?
Я дождалась счастливых дней
Иль это просто помраченье
И неизбежное течение
Болезни тягостной моей?

А нынче меня бурной радостью встретил...

А нынче меня бурной радостью встретил
Весёлый и взбалмошный солнечный ветер,
Мороча меня, тормоша, тербя
И всё уверяя, что это любя,
Что это забавно, прикольно и круто,
Что нет на земле интересней маршрута,
Чем просто идти неизвестно куда,
Себе не давая большого труда
Подумать о том, не ведёт ли он в бездну.
И если я вдруг в этой бездне исчезну,
Коль рухну в неё с его лёгкой руки,
Всем бурным восторгам его вопреки,
Он скажет: губить её не собирался.
Мол, так получилось. Мол, я заигрался.

Где любовь, там и свет. Там, где музыка, там и любовь...

Где любовь, там и свет. Там, где музыка, там и любовь.
И не надо, не спорь. Хоть закона такого и нету,
Я, влюбившись, всегда ясно слышала музыку эту —
Затихала она, чтоб звучать победительно вновь.
Это редко – мажор, чаще горький и светлый минор.
Лишь в начале мажор, а потом всё в миноре, в миноре,

Потому что со счастьем упрямо соседствует горе,
И меж ними легко и шутя исчезает зазор.
А зазор – это вдох, это воздух, счастливый просвет,
Это твёрдое «да», что стремительно сходит на нет.

Живу в старинном поселении...

Живу в старинном поселении
Я уйму лет.
А здесь такое население,
Что лучше нет.
Ползёт улитка с хрупкой спинкою,
Не наступи.
И коль ползёт твоей тропинкою,
То уступи.
Живёт здесь дятел, что старательно
Долбит кору,
В которой хочет обязательно
Пробить дыру.
Ещё живёт здесь некто маленький, —
Гудит, жужжит,
Облюбовав цветочек аленький,
Над ним дрожит.
Свою имеют траекторию
И тень, и луч.
Мне эта чудо-территория
Сдана под ключ.
Здесь обладает дивным тонусом
Любой жучок,
И служит мне особым бонусом
Небес клочок,
Что голубеет между ветками
Густых древес,
Покрыв тропу мою пометками
Самих небес.

Я родом из той допотопной поры...

Я родом из той допотопной поры,
Где были кругом проходные дворы,
Где в каждом заборе зияла лазейка,
Где краской по праздникам пахла скамейка,
Где снег по весне превращался в ручьи,
Где шли втихомолку святить куличи
Соседки, упрятав куличик в тряпицу,

Где, что ни мгновение, то счастья крупица.
И всё это в сталинском было аду
В каком-нибудь сорок девятом году
Во чреве зверином, тупом, людоедском,
В домашнем, уютном раю моём детском.

Где водится счастье, там водятся беды...

Где водится счастье, там водятся беды,
Где водятся люди, там есть людоеды,
Где водится радость, там есть и тоска...
Волна накатила на кромку песка,
Где тихо ступаю близ самого моря —
Близ самого счастья, близ самого горя.

А рассвет, наступив, всё решил за меня...

А рассвет, наступив, всё решил за меня,
Пожелал мне с порога счастливого дня,
Заглушил мои жалобы и причитанья
Звоном вешнего таянья и щебетанья.
Вот опять удалось ему рот мне зажать.
И пока я пыталась ему возражать,
Темнота становилась бледнее, бледнее,
И подумала я, что рассвету виднее.

Ну что ж, идёт процесс познания...

Ну что ж, идёт процесс познания.
Не знаю, чьё это задание.
Возможно, даже и Творца.
Возможно, Он не до конца
Продумал нас и мироздание.
Я нынче лично познаю,
Как выживают на краю,
Как поживают ручки с ножками,
И как мне справиться с бобошками
На кромке той, где я стою.
Как на духу всё расскажу.
Ведь я серьёзно подхожу
К тому, что свыше мне поручено.
И верю: будет всё изучено,
Коль я толково изложу.

Возможно, всё к тому идёт,
Что, всё учтя, Творец найдёт,
Что сотворил нас слишком зыбкими
И тленными. И над ошибками
Всерьёз работу проведёт.

Устав от тишины небесной...

Устав от тишины небесной,
Творец, доселе бессловесный,
Надумал слово сотворить,
Дав нам возможность говорить
Про крестный путь и мир окрестный.
И говорим, и говорим,
Надеясь на беседу с Ним.
Всё говорим про то, про это,
И, вопрошая, ждём ответа
И нетерпением горим,
Коснувшись наболевших тем.
Лишь Он, создавший слово, нем.

Все во всех влюблены: деревья – в облака...

Все во всех влюблены: деревья – в облака,
В белый лист влюблена стиховая строка,
Музыкант безнадежно влюблён в тишину,
Тишина – в музыкальную фразу одну.
Ну а я – в скоротечность текущего дня,
Даже если влюблён этот день не в меня.

Кружатся в воздухе снежные крапинки...

Кружатся в воздухе снежные крапинки...
Век прожила, а на мне ни царапинки.
Век прожила, а дорожка нетронута
И, как младенец, лежит запелёнута
В снежное белое, чистое, свежее.
Век прожила с восклицанием «Где же я?
Где же я, коль что ни утро, то новшество:
Света засилье и снега роскошество?»

Из прежних книг: избранное за полвека

Всё способно умереть...

Всё способно умереть,
Потому что живо, живо,
В час весеннего разлива
Силам – таять, птицам – петь

Тают в небе облака,
Тает снежная одежда,
Лишь последняя надежда
Не растаяла пока.

Сперва снега, а после – таянье...

Сперва снега, а после – таянье,
А после – звонкий птичий гам...
Ты только не теряй отчаянья,
Оно необходимо нам,
Чтоб эту жизнь земную, грешную
Любить до боли, до тоски,
Чтоб птичья песенка нездешняя
Рвала нам душу на куски.

А я пришла сюда за светом...

А я пришла сюда за светом,
За вразумительным ответом,
За добрым словом, за участием,
Короче, я пришла за счастьем.

И все сюда пришли за этим.
Что в результате мы ответим,
Когда нас спросят: «Сердце радо?»
Не надо спрашивать, не надо.

Ну а если я что и открыла, то настежь окно...

Ну а если я что и открыла, то настежь окно.

Ни страны, ни вакцины, ни формулы не открывала.
Но зато как приветливо ветка в окно мне кивала,
Будто очень хотела со мной быть во всём заодно.
Всё же чем не открытие в царстве сует и тревог
В летних окнах распахнутых ласковый этот кивок.

Небо стоит того, чтобы снова проснуться...

To John and Sheila

Небо стоит того, чтобы снова проснуться,
Утро стоит того, чтоб в него окунуться,
Воздух стоит того, чтоб дышать глубоко.
Вишня белая-белая, как молоко,
И зарянка на ней меня ждут с нетерпением,
Чтоб заняться со мной трепетаньем и пеньем.

Апсель 2015. Long Marston, Warwickshire

Неясным замыслом томим...

Неясным замыслом томим
Или от скуки, но художник
Холста коснулся осторожно,
И вот уж линии, как дым,
Струятся, выются и текут,
Переходя одна в другую.
Художник женщину нагую
От лишних линий, как от пут,
Освобождает – грудь, рука.
Еще последний штрих умелый,
И оживут душа и тело.
Пока не ожили, пока
Она еще нема, тиха
В небытии глухом и плоском,
Творец, оставь ее наброском,
Не делай дерзкого штриха,
Не обрекай ее на блажь
Земной судьбы и на страданье.
Зачем ей непомерной данью
Платить за твой внезапный раж?
Но поздно. Тщетная мольба.
Художник одержим до дрожи:
Она вся светится и, боже,
Рукой отводит прядь со лба.

Не ждать ни переправы, ни улова...

Не ждать ни переправы, ни улова,
Ни окрика, ни шороха, ни зова.
У леса, у глухого перелеска,
Средь синевы, и тишины, и плеска,
На берегу, колени к подбородку,
Сидеть, следя недвижимую лодку
И слушая полуденные речи
Реки, не прерывая, не переча.

О, разнотравье, разноцветье...

О, разнотравье, разноцветье.
Лови их солнечною сетью
Иль дождевой – богат улов.
А я ловлю их в сети слов.
И потому неуловимы
Они и проплывают мимо.
И снова сеть моя пуста.
В ней ни травинки, ни листа.
А я хотела, чтоб и в стужу
Кружило все, что нынче кружит,
Чтобы навеки был со мной
Меня пленивший миг земной;
Чтобы июньский луч небесный,
Запутавшись в сети словесной,
Светил, горяч и негасим,
В глухую пору долгих зим;
Чтоб все, что нынче зримо, зряче,
Что нынче и поёт, и плачет,
А завтра порастет быльем,
Осталось жить в стихе моем.

«Гуляйте, пейте. Я плачу»...

«Гуляйте, пейте. Я плачу», —
Вот так я говорю лучу,
Теням танцующим и свету,
Кустам цветущим, то есть лету,
Которое продлить хочу.

За луч, скользнувший по плечу,

За луг, где ноги промочу,
За белизну июньской ночи, —
Я жизнью, что ещё короче
За лето станет, заплачу.

Ну вот опять и я и лето...

Ну вот опять и я и лето,
И гром, и дождик проливной,
И день, ушедший от ответа
На тот вопрос, что задан мной —
Мол, как, какими, мол, ветрами,
Судьбами нас на этот свет... —
И блики на оконной раме,
Вновь заменившие ответ.

«Тихо, пусто», – подумала я по наивности...

«Тихо, пусто», – подумала я по наивности.
Пригляделась – ого, сколько всяческой живности:
Муравьишек и мошек, жуков, червяков,
Разных крылышек, усиков, глаз, хоботков.
О какое творится кругом копошение,
Что прямое имеет ко мне отношение!
Я ведь тоже, когда на земле завелась,
Устанавливать разные связи взялась.
Я ведь, стоило мне на земле поселиться,
Тоже стала тревожиться и шевелиться.
Я ведь тоже завишу невесть от кого
И не знаю последнего дня своего.
Так зачем же иду, ослеплённая далями,
И гублю своих ближних своими сандалями?

Кто подтвердит, что я была?

Кто подтвердит, что я была?
А, впрочем, для чего мне это?
Учиться надо у рассвета:
Пришёл, ушёл, и все дела.
Пришёл и светом всё залил,
Слегка обрадовал кого-то,
Ещё сложил и в рифму что-то
И черновик перебелил...

Какая нынче дозировка...

Какая нынче дозировка
Чудес, явившихся на свет?
А мне в ответ: «Да их и нет.
Есть шмель, есть божия коровка,
Есть блик рассветный, есть роса...».
Кричу: «Да это ж чудеса!
Они – мои. Беру всё оптом.
Беру, покуда не истоптан
Рассветный влажный сад, беру
Теней бесшумную игру,
Лучей серебряные нити.
Всё это – в воздух заверните».

Не прекращаются поставки...

Не прекращаются поставки
Листвы и воздуха, и травки,
И птичьих стай, и летних гроз,
И света, и смертельных доз
Тоски и горечи, и боли,
И ветра, ветра, ветра в поле.

Говорю уходящему дню...

Говорю уходящему дню —
Его ветру, его изумруду
И его заревому огню:
«Я тебя никогда не забуду.
Не забуду ни свет твой, ни тень,
Ни твои золотистые пятна».
«Всё забудешь, – ответил мне день, —
Всё забудешь, но слушать приятно».

Сказать, каков мой род занятий?

Сказать, каков мой род занятий?
Раскинув руки для объятий,
Встречать грядущую зарю,

Которую благодарю
За то, что так приходит кстати,
За то, что так себе верна,
И в мир, в котором ночь черна,
Она такую вносит ясность,
Что понимаешь: мрак лишь частность,
И дивно явь озарена.

И всё это – от полноты...

И всё это – от полноты
Любви, отчаянья и муки,
И оттого, что в каждом звуке
Живёт боязнь немоты.
Всё оттого, что выносить
Должны мы безграничность эту,
А есть ли силы или нету
Господь забыл у нас спросить.

Нам август, уходя, позолотил пилюлю...

Нам август, уходя, позолотил пилюлю:
Позолотил листву, скользнул лучом по тюлю
В распахнутом окне, прошелестел садами,
И одарил сполна сладчайшими плодами,
Чтоб мы вкусили миг разлуки горько-сладкий;
Позолотил строку в исписанной тетрадке,
Где маются слова, тире и запятые
В попытке удержать мгновенья золотые.

И золотым дождем прольется...

И золотым дождем прольется
Листва, падет сплошной стеной,
Земля бесшумно повернется
Своею лучшей стороной,
И время бег свой напряженный
Прервет на самый краткий миг,
Чтоб разглядеть замороженно
Земли преображенный лик.

Прозрачных множество полос...

Прозрачных множество полос.
С берез, летящих под откос, —
Листва потоком.
Стекают листья градом слез
С летящих под гору берез,
И ненароком
Я оказалась вся в слезах,
Хоть ни слезинки на глазах.
Безмолвной тенью
Брожу в мятущихся лесах.
И облака на небесах
И те в смятенье.
И этот ветер поутру,
И это буйство на ветру —
Почти веселье
И пир почти. Не уберу
Листвы с волос. В чужом пиру
Мое похмелье.
Я не при чем. Я не при чем,
Я лишь задела ствол плечом
В лесу высоком.
И листья хлынули ручьем,
Сквозным просвечены лучом,
Как горним оком.

Казалось бы, все мечено...

Казалось бы, все мечено,
Опознано, открыто,
Сто раз лучом просвечено,
Сто раз дождем промыто.
И все же капля вешняя,
И луч, и лист случайный,
Как племена нездешние,
Владеют речью тайной.
И друг, всем сердцем преданный,
Давнишний и привычный, —
Планеты неизведанной
Жилец иноязычный.

Нельзя так серьёзно к себе относиться...

Нельзя так серьёзно к себе относиться,
Себя изводить и с собою носиться,
С собою вести нескончаемый бой,
И в оба глядеть за постылым собой,
Почти задохнувшись, как Рим при Нероне.
Забыть бы себя, как багаж на перроне.
Забыть, потерять на огромной земле
В сплошном многолюдье, в тумане, во мгле.
Легко, невзначай обронить, как монету:
Вот был и не стало. Маячил и нету.

Нашел себя? Ну, слава Богу...

Нашел себя? Ну, слава Богу.
Бери находку – и в дорогу.
Бери находку – и вперёд,
Туда, где оторопь берёт,
Где то в упадке, то на взводе
Живут – и силы на исходе,
И хочется, как букву «ЯТЬ»,
Себя навеки потерять.

Так хочется пожить без боли и без гнёта...

Так хочется пожить без боли и без гнёта,
Но жизнь – она и есть невольные тенёта.
Так хочется пожить без горечи и груза,
Но жизнь – она и есть сладчайшая обуза,
И горестная весть и вечное страданье.
Но жизнь – она и есть последнее свиданье,
Когда ни слов, ни сил. Лишь толчея вокзала.
И ты не то спросил. И я не то сказала.

Тончайшим сделаны пером...

Тончайшим сделаны пером
Судьбы картинки,
И виснут в воздухе сыром
На паутинке.

Летящим почерком своим
Дожди рисуют,
И ветер легкие, как дым,
Штрихи тасует.
...Рисуют, будто на бегу,
Почти небрежно.
Я тот рисунок сберегу,
Где смотришь нежно.
Живу, покорна и тиха.
И под сурдинку
Коледует ветер два штриха
И паутинку.

Хотите, опишу тоску?

Хотите, опишу тоску?
Осенний дождик морозящий,
Листву последнюю гасящий —
Хоть дуло приставляй к виску.

Хотите, счастье опишу?
Всё тот же дождь осенний редкий,
Всё тот же лист, слетевший с ветки,
Стихи, которыми грешу.

Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?

Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?
Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
И сюжеты Твои не новы,
И картинки Твои безнадежно похожи:
Небо, морось, шуршанье травы...
Ты – своё, я – своё, да и как же иначе?
Дождь идёт – мы с Тобою сливаемся в плаче.
Мы совпали. И как не совпасть?
Я – подобье Твоё, и мои неудачи —
Лишь Твоих незаметная часть.

Наступают сна неслышней...

Наступают сна неслышней
Снегопада времена
Невесомые Всевышний

Густо сеет семена.
И кружится нам на зависть,
Не страшась судьбы своей,
Белый снег, едва касаясь
Крыш, заборов и ветвей;
И зовет забыть усердье,
Пыл, отчаянье и страсть,
Между облаком и твердью
Тихо без вести пропасть.

Столько нежности, Господи. Воздух, крыло...

Столько нежности, Господи. Воздух, крыло.
Третий день снегопад. Даже ночью бело.
Столько нежности, Господи, маленьких крыл,
Будто Ты мне все тайны сегодня открыл.
Не словами, а прикосновеньем одним
К волосам и губам, и ресницам моим.

Прости меня, что тает лёд...

Маме

Прости меня, что тает лёд.
Прости меня, что солнце льёт
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьётся след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветёт. Прости, родная.

Я от нежности таю, как тает на солнце снегурка...

Я от нежности таю, как тает на солнце снегурка.
Я от нежности таю к любому мгновению дня.
Мама, видишь оттуда во что превратилась дочурка?
Я от нежности таю. Почти не осталось меня.

Да и день со мной нежен. К губам прикоснулся снежинкой,
Лёгким тельцем небесным, весёлым своим светлячком.
Мама, видишь оттуда как таю над дивной картинкой,
Той, что сотворена на едином дыханье, молчком?

А мама собирается на бал...

А мама собирается на бал.
И жемчуг бел, и цвет помады ал,
На стуле серебрится чернобурка —
Её не любит мамина дочурка.
Берет не любит, что с распылки снят,
И платье из панбархата до пят.
Ведь, значит, мама *из* дому уходит
И дочкин праздник *из* дому уводит.
Не надо было маму отпускать.
Ведь где, скажи, теперь ее искать?

Люби без памяти о том...

Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что все рассеется потом,
Уйдет, разрушится, и канет,
И отомрет, и сил не станет
Подумать о пережитом.

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли...

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.

Хоть бы дали инструкцию как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней —
Беспощадной и нежной — и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.

А чем здесь платят за постой...

А чем здесь платят за постой,
За небосвода цвет густой,
За этот свет, за этот воздух
И за ночное небо в звездах?
Все даром, говорят в ответ,
Здесь даром все: и тьма, и свет.
А впрочем, говорят устало,
Что ни отдай, все будет мало.

Любовь до гроба...

Любовь до гроба.
Жизнь до гроба.
Что дальше – сообщат особо.
И если есть там что-нибудь,
Узнаешь. А пока – забудь.
Забудь и помни только это:
Поля с рассвета до рассвета,
Глаза поднимешь – небеса,
Опустишь – травы и роса.

Не стоит жить иль все же стоит...

Не стоит жить иль все же стоит —
Неважно. Время яму роет,
Наняв тупого алкаша.
Летай, бессмертная душа,
Пока пропойца матом кроет
Лопату, глину, тяжкий труд
И самый факт, что люди мрут...
Летай душа, какое дело
Тебе во что оденут тело
И сколько алкашу дадут.
Летай, незримая, летай,
В полете вечность коротай,
В полете, в невесомом танце,
Прозрачайшая из субстанций,
Не тай, летучая, не тай.

Болела моя детская душа...

Болела моя детская душа:
Я утопила в море голыша,

Случайно утопила в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.
Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Гольш – нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

А круг, на котором я плавала, быстро спустил...

А круг, на котором я плавала, быстро спустил.
Мне лет было мало. Я плавать совсем не умела,
А мама не видела, мама на солнышке млела,
А я всё барахталась и выбивалась из сил,
Пока не нащупала пальчиком правой ноги
Спасительный камень в одежке из скользкого ила.
...Никак не пойму я, что в жизни случайностью было,
Что Божьим ответом на сдавленный крик: «Помоги!»

А тогда, на начальном этапе...

А тогда, на начальном этапе,
Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нем ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нем без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

То облава, то потрава...

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжко виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,

Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

Кнутом и пряником. Кнутом...

Кнутом и пряником. Кнутом
И сладким пряником потом.
Кнутом и сдобною ватрушкой...
А ежели кнутом и сушкой,

Кнутом и корочкой сухой?
Но вариант совсем плохой,
Когда судьба по твари кроткой —
Кнутом и плёткой, плёткой, плёткой.

Жить сладко и мучительно...

Жить сладко и мучительно,
И крайне поучительно.
Взгляни на образец.
У века исключительно
Напористый резец,
Которым он обтачивал,
Врезался и вколачивал,
Врубался и долбил,
Живую кровь выкачивал,
Живую душу пил.

А лучшие из лучших полегли...

А лучшие из лучших полегли.
Причём не сами. Им здесь помогли.
Им в сих краях охотно помогают.
Здесь лучших ни за что не проморгают.
На лучших у России острый нюх,
Не переносит Родина на дух
Особо одарённых, окрылённых,
Неведомо за что в неё влюблённых,
И, не желая с ними вместе жить,
Торопится на месте уложить.

И в черные годы блестели снега...

Тамаре Петкевич и её книге «Жизнь – сапожок непарный»

И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

Россия, ты же не даешь себя любить...

Россия, ты же не даешь себя любить.
Ты так стараешься домучить нас, добить
И доказать нам, что тебе мы не нужны.
Но, Боже, как же небеса твои нежны!
Но как к нам ластится и льнет твоя трава!
Но как звучат твои волшебные слова!

Здесь мостик над речкой дощатый и узкий...

Здесь мостик над речкой дощатый и узкий,
Здесь даже трава понимает по-русски.
Здесь так хорошо обо всём говорить
И в поле заросшем тропинку торить,
И, кажется, могут и травы и речка
Едва я запнусь подсказать мне словечко.

Пишу стихи, причем по-русски...

Легкий крест одиноких прогулок...
О. Мандельштам

Пишу стихи, причем по-русски,
И не хочу другой нагрузки,
Другого дела не хочу.
Вернее, мне не по плечу
Занятие иного рода.
Меня волнует время года,

Мгновенье риска, час души...
На них точу карандаши.
Карандаши. Не нож, не зубы.
Поют серебряные трубы
В соседнем жиденьком лесу,
Где я привычный крест несу
Своих лирических прогулок.
И полон каждый закоулок
Души томлением, тоской
По женской рифме и мужской.

Такие творятся на свете дела...

Такие творятся на свете дела,
Что я бы сбежала в чем мать родила.
Но как убегу, если кроме Содома
Нигде ни имею ни близких, ни дома.
В Содоме живу и не прячу лица.
А нынче приветила я беглеца.
«Откуда ты родом, скажи Бога ради?»,
Но сомкнуты губы и ужас во взгляде.

Перебрав столетий груду...

Перебрав столетий груду,
Ты в любом найдёшь Иуду,
Кровопийцу и творца,
И за истину борца.
И столетие иное
Станет близким, как родное:
Так же мало райских мест,
Те же гвозди, тот же крест.

Но в хаосе надо за что-то держаться...

Но в хаосе надо за что-то держаться,
А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною лампой над кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.

Я говорю с пространством, с небом, с Богом...

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
А отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: «Ждёт меня беда?»,
А мне в ответ – раскатистое «Да».
«Какие годы лучшие на свете?», —
Я спрашиваю. Отвечают: «Эти».

Между облаком и ямой...

Между облаком и ямой,
Меж березой и осиной,
Между жизнью лучшей самой
И совсем невыносимой,
Под высоким небосводом
Непрестанные качели
Между босховским уродом
И весною Боттичелли.

Откуда всхлип и слабый вздох?

Откуда всхлип и слабый вздох?
Из жизни, пойманной врасплох,
И смех оттуда,
И вешних птиц переполох,
И звон посуды,
И чей-то окрик: "Эй, Колян!",
И сам Колян, который пьян
Зимой и летом,
И море тьмы, и океан
Дневного света.

Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно...

Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно.
Всё же есть здесь и радости. И у меня их немало.
Например, здесь рябина пылала по осени чудно.
Например, я тебя, мой родной, поутру обнимала.
Сыновей напоила я чаем со сдобным печеньем.

А когда уходили, махала им вслед из окошка.
Нынче день отличался каким-то особым свеченьем.
Разве есть на земле неприметная мелкая сошка?
Что ни особь, то чудо и дар, и судьба, и явление.
Разве может такое простой домовиной кончаться?
После жизни земной обязательно ждёт нас продление,
Да и здесь на земле неземное способно случаться.

Всем трудно, всем – собакам, лошадям...

Всем трудно, всем – собакам, лошадям,
Деревьям, травам. Всем без исключения.
И нам, конечно. Жить – и приключение
И риск большой, как бегать по путям,
Где поезда. Всё ж стоит рисковать.
Ведь только здесь и может отыскаться
Возможность приласкать и приласкаться,
И рук родных из рук не выпускать.

Полвека мы рядышком – лето, зима...

Полвека мы рядышком – лето, зима...
Ведь ты мне не скажешь – мол, дальше сама?
Сама не сумею. Ведь ты ненароком
Всю жизнь управляешь моим кровотоком,
И пульс мой зависит от ритмов твоих,
И свет в наших окнах – один на двоих.

Ей-богу, легче стать любимым...

Ей-богу, легче стать любимым,
Чем стать родным, незаменимым.
Любимых можно разлюбить
И потихонечку забыть.
А жить без существа родного —
Как жить без молока грудного
Младенцу, что впадёт в тоску,
Коль срочно не прильнёт к соску.

Хоть кол на голове теши...

Хоть кол на голове теши —
Все улыбаешься в тиши.
Тебе – жестокие уроки,
А ты – рифмованные строки.
А ты – из глубины души
Про то, как дивно хороши
Прогулки эти меж кустами
Ольхи. Твоими бы устами...

Хорошо быть беглой гласной...

Хорошо быть беглой гласной
И, утратив облик ясный,
Неприсутствием блеснуть,
И, контекст покинув властный,
В нетях сладостных соснуть.

Хорошо бы в мире яром
Обладать чудесным даром
Беглой «Е» (ловец – ловца):
Постояла под ударом
И исчезла из словца.

Что плакать ночи напролет?

Что плакать ночи напролет?
Уж все менялось не однажды,
И завтра там родник забьет,
Где нынче гибнешь ты от жажды.
И где сегодня прах один
И по останкам тризну правят,
Там Ника, вставши из руин,
Легко сандалию поправит.

Это всё до времени...

Это всё до времени,
До зари, до темени,
До зимы, до осени,
До небесной просини.
Вздумаешь отчаяться,
А оно кончается.
Вздумаешь надеяться,

А оно развеется.

Ждали света, ждали лета...

Ждали света, ждали лета,
Ждали бурного расцвета
И благих метаморфоз,
Ждали ясного ответа
На мучительный вопрос.
Ждали сутки, ждали годы
То погоды, то свободы,
Ждали, веря в чудеса,
Что расступятся все воды
И дремучие леса...

А пока мы ждали рая,
Нас ждала земля сырая.

Не больно тебе, неужели не больно...

Не больно тебе, неужели не больно
При мысли о том, что судьба своевольна?
Не мука, скажи, неужели не мука,
Что непредсказуема жизни излука,
Что память бездонна, мгновение кратко?..
Не сладко, скажи, неужели не сладко
Стоять над текущей осенней рекою,
К прохладной коре прижимаясь щекою.

Время пишет бегущей строкой...

Время пишет бегущей строкой,
Пишет тем, что найдет под рукой
Второпях, с одержимостью редкой —
Карандашным огрызком и веткой,
И крылом над текущей рекой.
Пишет густо и всё на ходу,
С нормативным письмом не в ладу.
И поди разбери его руку —
То ли это про смертную муку,
То ль о радостях в райском саду.

Откуда ты?

Откуда ты?
Как все – из мамы,
Из темноты, из старой драмы,
Из счастья пополам с бедой,
Из анекдота с бородой.
Ну а куда?
Туда куда-то,
Где все свежо: цветы и дата,
И снег, и елка в Новый год,
И кровь, и боль, и анекдот.

Не мешайте ребёнку сиять...

Внуку Данечке

Не мешайте ребёнку сиять,
Ну прошу, не мешайте,
И счастливых смеющихся глаз
Этот мир не лишайте.
Что он стоит – подержанный мир —
Без такого сиянья?
Без него – он скопление дыр
И сплошное зиянье.
Если долго за взглядом следить —
За младенческим взглядом,
То далёко не надо ходить,
Всё чудесное рядом.

Идти по первому снежку...

Идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,
Идти то из дому, то к дому,
Почти приноравясь к шажку
Той вечности, что не спешит
И вместе с тропами петляет,
И след, который оставляет,
Сама же снегом порошит.

Идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,

Идти то из дому, то к дому,
Почти приноровясь к шажку
Ребёнка, что едва-едва
Земли коснулся, встав на ножки,
И удивляется дорожке,
И силится сказать слова.

Творенье – разве это труд?

Творенье – разве это труд?
Синь неба, листьев изумруд,
Цветок, что на земле родился,
Да разве наш Господь трудился?
Вдохнул и выдохнул – и вот
Земная твердь, небесный свод.

Неуютное местечко...

Неуютное местечко.
Здесь почти не греет печка,
Вымирают печники.
Ветер с поля и с реки
Студит нам жильё земное,
А тепло здесь наживное:
Вот проснулись стылým днём,
Надышали и живём.

Идут по свету дяди, тётки...

Идут по свету дяди, тётки,
И все они в конечном счёте
Куда-нибудь придут.
Ну а душа – она в полёте,
Она ни там, ни тут,
Коль есть она. А если нету,
Придётся бедному поэту
Вот так писать в тиши:
"Людской поток течёт по свету,
Течёт – и ни души."

Можно вычислить время прилива...

Можно вычислить время прилива,
Скорость ветра и силу его,
Но захочешь понять, чем всё живо,
И опять не поймешь ничего.
Не поймешь, где тот скрытый моторчик,
Не дающий здесь всё сокрушить,
Почему задохнувшийся Корчак
Нам дышать помогает и жить.

Как под яблоней неспелый...

Как под яблоней неспелый,
Несъедобный плод лежит...
Видит Бог, хочу быть смелой,
А душа моя дрожит.

И чего она боится
Под неспелых яблок стук?
Страшно ей, что жизнь продлится,
Страшно, что прервётся вдруг.

И ты попался на крючок...

И ты попался на крючок,
И неба светлого клочок
Сиял, пока крючок впивался
И ты бессильно извивался,
Стремясь на волю, дурачок.
Тебе осталось лишь гадать
Зачем вся эта благодать,
И для чего тебя вдруг взяли,
Из тьмы беспмятства изъяли,
Решив земное имя дать.

Нет, мы не плачем, мы не плачем...

Нет, мы не плачем, мы не плачем.
И, будь мы хвостиком собачьим
Любой длины и толщины

С рождения оснащены,
Мы им бы весело виляли,
Безумно радуясь, что взяли
Нас погулять на белый свет,
Где можно взять волшебный след.

Слова даны, чтоб вечно не хватало...

Слова даны, чтоб вечно не хватало
Нам слов сказать, куда душа летала
И что видала там, на высоте.
Слова даны, чтоб вечно о тщете
Мы помнили и ради сладкой пытки
Не оставляли тщетные попытки.
Нетленку пишут на коленке...

Нетленку пишут на коленке,

Меж делом, улучив момент,
В вагоне, прислонившись к стенке
Под нудный аккомпанемент
Колёсный, пишут на обрывке.
Ей не помеха толкотня.
Её творят, снимая сливки
С земного будничного дня.

Четверг пока необитаем...

Четверг пока необитаем.
К нему мы только подлетаем,
И гаснет окон череда.
Это кончается среда.
И вот уже мы близко вроде
К чему-то, чего нет в природе.

Не договаривают все...

Не договаривают все:
И старцы мудрые, и дети,
Речушка в средней полосе,
Ромашка в поле и в букете.

И скрытен день, и ночь темнит,
И утро тихой тайне радо.
Сама судьба секрет хранит.
Не договаривай. Не надо.

Не вмещаю, Господи, не вмещаю...

Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею ёмкостей, нужной тары
Для даров твоих. Ожидаю кары
От тебя за то, что не стало мочи
Всё вместить. А дни мои всё короче
И летят стремительно, не давая
Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката...
Виновата, Господи, виновата.

Поверь, возможны варианты...

Поверь, возможны варианты,
Изменчивые дни – гаранты,
Того, что варианты есть,
Снежинки – крылышки, пуанты —
Парят и тают, их не счесть.
И мы из тающих, парящих,
Летающих, заживо горящих
В небесном и земном огне, —
Царящих и совсем пропавших
Невесть когда и где, зане
Мы не повязаны сюжетом,
Вольны мы и зимой и летом
Менять событий быстрый ход
И что-то добавлять при этом
И делать всё наоборот,
Менять ремарку "обречённо"
На "весело" и, облегчённо
Вздыхнув, играть свой вариант,
Чтоб сам Всевышний увлечённо
Следил, шепча: "Какой талант!"

Одинокий лист безродный...

Одинокий лист безродный
Проплывал по глади водной.
Лист течением несло...
Было пятое число,
Но оно уже кончалось...
Ветка голая качалась...
Как тебе на свете быть,
Бедный хомо? Дальше плыть,
Плыть во времени текучем.
Бедный, бедный, чем ты мучим?
Что бы ни было – плыви
С красным шариком в крови.

А ещё я забыла сказать...

А ещё я забыла сказать,
Что свободно могу осязать
То мгновенье, которое будет,
Луч, который нас завтра разбудит,
День, который ещё не настал,
Дождь, который давно перестал,
Весть, что в окна вот-вот постучится,
И беду, что не скоро случится.

Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно...

Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно,
Даже если собою владеть невозможно,
Когда маленький ангел на белых крылах —
Вот ещё один взмах и ещё один взмах —
К нам слетает с небес и садится меж нами,
Прикоснувшись к земле неземными крылами.
Я слежу за случившимся, веки смежив,
Чем жила я доселе, и чем ты был жив,
И моя, и твоя в мире сём принадлежность —
Всё неважно, когда есть безмерная нежность.
Мы не снегом – небесной осыпаны пылью.
Назови это сном. Назови это былью.
Я могу белых крыльев рукою коснуться.
Надо только привстать. Надо только проснуться.
Надо сделать лишь шаг различимый и внятный
В этой снежной ночи на земле необъятной.

К юной деве Пан влеком...

К юной деве Пан влеком
Страстью, что страшнее гнева.
Он бежал за ней, но дева
Обернулась тростником.
Сделал дудочку себе.
Точно лай его рыданье.
И за это обладанье
Благодарен будь судьбе.
Можешь ты в ладонях сжать
Тростниковой дудки тело.
Ты вздохнул – она запела.
Это ли не благодать?
Ты вздохнул – она поет,
Как холмами и долиной
Бродишь ты в тоске звериной
Дни и ночи напролет.

А между тем, а между тем...

А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем
И жарких слов о том, об этом
Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты и я,
Пропитанные злобой дня.

Нет, музыка вечна. Не вечны певцы...

Нет, музыка вечна. Не вечны певцы.
Певцы отдают, к сожаленью, концы.
И тот, кем написана вечная fuga,
С земного сошёл, к сожалению, круга.
И тот, кто волшебство её исполнял,
Он тоже, – простите за грубость, – слинял.
Ушли тромбонисты, ударники – в нетях,
А музыка... Что ей до смертников этих?

Сколько напора и силы, и страсти...

Сколько напора и силы, и страсти
В малой пичуге невидимой масти,
Что распевает, над миром вися.
Слушает песню вселенная вся.
Слушает песню певца-одиночки,
Ту, что поют, уменьшаясь до точки,
Ту, что поют на дыханье одним,
На языке, для поющих родном,
Ту, что живет в голубом небосводе
И погибает в земном переводе.

В ночной тиши гуляет ветер...

В ночной тиши гуляет ветер...
Господь грядущий день наметил
Вчерне, чтоб набело вот-вот
Пересоздать, и будет светел
Через минуту небосвод,
И вспыхнет он полоской алой...
Возможно ль жить без идеала,
Без абсолюта, без того
Неоспоримого начала —
Для всей вселенной одного,
Без веры, будто в мире этом
Безумном, горестном, отпетом
Должно каким-то светлым днем,
Как в детстве, все сойтись с ответом,
Что дан в задачнике моем.

И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей...

И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей,
Через шумящий сад, где вспархивает птица,
Бежать вперед, назад, вперед, левой, правой,
Вслепую, наугад, чтоб с кем-то объясниться...

Что, кроме бедных слов, останется в строках?
Твержу: «Затмение, бред, безумие, затмение...».
Сладчайшая из чаш была в моих руках,
И ливня, и ветров не прекращалось пенье.

Лишь тот меня поймет, кто околдован был,
В ком жив хотя бы слог той повести щемящей,
Кто помнит жар и лед, кто помнит, не забыл,
Как задохнуться мог среди листвы шумящей.

Боже мой, какое счастье!

Боже мой, какое счастье!
Всё без моего участия —
Ливень, ветер и трава,
И счастливые слова,
Что в загадочном порядке
Появляются в тетрадке.

Что ни сутки, то круглая дата...

Что ни сутки, то круглая дата,
Годовщина не знаю чего:
То ли дождика, то ли заката,
То ли ветра, порыва его,
То ли чьей-то любви несуразной,
То ли чьих-то великих побед...
Суть не в этом. Ты, главное, празднуй,
Всех сзывая на званый обед.

Я ещё одну минутку...

Я ещё одну минутку
Попросить у вас хотела:
Я не все печали в шутку
Обратить пока успела,
И не всё, с чем шутки плохи,
Превратила в приключенья,
И не все сумела вздохи
Сделать вздохом облегченья.

II. Эссе о поэзии и поэтах

О, если б без слова...

«Стихи, мой друг, делают не из идей, а из слов», – изрек Малларме. Удивительно, что столь категоричное и прямолинейное определение поэзии принадлежит поэту. Здесь сомнительно все: и отрицание «не из идей» и утверждение «из слов», и глагол в активном залоге «делают». Поэту свойственно говорить о стихах: пишутся, не пишутся. Но не стану тратить много времени на опровержение подобной формулировки. Этим наверняка занимались до меня. Я же привела слова Малларме, чтобы, оттолкнувшись от него, изречь, правда, ни на чем не настаивая, свое: существуют стихи, созданные БЕЗ СЛОВ. Во всяком случае, слова в них погоды не делают.

Что счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнёшься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет...

(Александр Блок)

Здесь стиховая ткань будто молью изъедена – жидкая, дырявая, сквозная, вся светится. Слов как бы и нет – настолько они просты, чтобы не сказать банальны. Здесь царят ЗВУКИ тягучие А, Е, О, А, Е, создающие ощущение вакуума, пугающего пространства, в котором совершается бессрочный и бессмысленный полет. Таким стихам по дороге с воздушным потоком, с которым они сливаются и который озвучивают, не нарушая его непрерывного движения.

Впереди одна тревога
И тревога позади...
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!

(Сергей Клычков)

«Бессловесная» поэзия – полный антипод другой, в которой слова, обладающие особой энергией и мощью, ложатся не вдоль, а поперек воздушного потока, бросаются ему наперерез, перекрывая и перекраивая его, вызывая ветер, вихрь, бурю.

Без рук не обнять!
Сгинь, выпранных душ
Небыль!
Не вижу – и гладь,
Не слышу – и глушь:
Не был.
Круги на воде.
Ушам и очам —
Камень.
Не здесь – так нигде.

В пространство, как в чан,
Канул.

(Марина Цветаева)

Хотя и эти стихи сотворены из чего-то гораздо более сложного, чем слова – из особой ритмики, звукописи, из тез самых «задыханий», о которых писал Мандельштам, – но «бессловесными» их никак не назовешь – слишком значимо и напористо каждое слово. Сравните с невесомыми, почти бесплотными строчками Фета:

Холодно, ясно, бело,
Дрогнуло птицы крыло.
Солнца еще не видать,
А на душе благодать.

Четыре повествовательных предложения, начисто лишенные каких-либо изобразительных средств, стали поэзией. Почему? Потому, что есть рифма? Но заплести строки в косичку, зарифмовать кончики совсем не значит написать стихотворение. Определить, что здесь есть, гораздо сложнее, чем сказать чего нет. Нет слов, обладающих весом, цветом, плотностью, слов, столь выпуклых и телесных, что кажется, будто их можно взять в руки или хотя бы потрогать. Именно такое чувство возникает при чтении следующих двух четверостиший.

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца,
Разгневанно цветут каштаны.
Жара покрыла лошадей
И шелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

(Борис Пастернак)

Какой густой замес! Творится новая реальность, куда более насыщенная, концентрированная, экспрессивная, чем явь.

Это – круто налившийся свист,
Это – шелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

(Борис Пастернак)

Здесь всё в избытке – тропы, эпитеты, аллитерации. А из чего сделаны такие строки:

Я слышу – история и человечество,
Я слышу – изгнание или отечество.

Я в книгах читаю – добро, лицемерие
Надежда, отчаяние, вера, неверие.

И вижу огромное, страшное, нежное
Насквозь ледяное, насквозь безнадежное.

И вижу беспамятство или мучение
Где все, навсегда, потеряло значение,

И вижу, вне времени и расстояния, —
Над бедной землей, неземное сияние.

(Георгий Иванов)

Перечисление, повторы, нищий словарь, никаких изысков... Да это и не стихи вовсе, а завывание ветра, протяжная песня без слов. Когда в таком почти бессловесном пространстве неожиданно вспыхивает слово, это воспринимается как чудо.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

(Георгий Иванов)

Драгоценные – единственное здесь слово.

А вот еще образец поэзии, являющейся антиподом «бессловесной»:

Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь, как грудю
скушных подробностей, в голой избе на курьих ножках.
Плюс нас, со стороны на стульях.

(Иосиф Бродский)

Попробуй, читая или слушая эти стихи, хоть на секунду отвлечься, упусти хоть одно слово – немедленно потеряешь нить той сложной, искусной словесной паутины, которую выткал поэт-паук. А можно ли потерять нить в таких стихах?

Не мечтай о светлом чуде:
Воскресения не будет!
Ночь пришла, погаснул свет...
Мир исчезнул... мира нет...

(Сергей Клычков)

Читая эти строки, испытываешь удивление. Но удивляешься не мастерству, блеску или виртуозности поэта, а совсем другому – тому, что горсточка обыкновенных слов превратилась в стихи.

А что стихи? Обман? Благая весть? —
Дыханье, дуновение, вдохновение.
Как легкий ладан, голубая смесь
Благоуханья и – благоговенья.

(Игорь Чиннов)

Дыханье, дуновение, вдохновение – вот самые точные, несмотря на всю их размытость, определения. Песня без слов рождается, когда, благодаря вдохновению, ритм дыхания поэта совпадает с вибрацией воздуха. Приходится прибегать к «воздушному» словарю, потому что ничего более определенного о такой мнимости, как поэзия, тем более «бессловесная», не скажешь.

Нечто подобное есть, наверное, и в смежных искусствах. В живописи это картины Вейсберга, которые настолько призрачны, что почти не нарушают белизны холста. В кино – фильмы Отара Иоселиани, особенно его «Пастораль», где ничего не происходит и остается загадкой каким образом мастеру удастся взять зрителя в плен. В музыке – сочинения Пярта. Когда их слушаешь, начинает казаться, что композитор пишет, не подозревая, что музыка существовала и до него, пишет, как первый на свете, как Адам или дитя, потрясенное возможностью извлекать звуки. И звуки эти настолько младенчески целомудренны и простодушны, что почти не нарушают тишины.

У поэта сложные отношения со словом. Он жить без него не может, души в нем не чаёт, но иногда от слова устает, враждует с ним, теряет в него веру. Тому много свидетельств. Вот лишь некоторые:

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

(Александр Блок)

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

(Ф. Тютчев)

Тишина, ты – лучшее из всего, что слышал.

(Борис Пастернак)

Сказав это, поэт опять нарушает тишину и будет, если бог даст, нарушать ее и дальше. Но существуют стихи, которые тишины почти не нарушают, едва сквозь нее проступая, как лик Христа сквозь Плат Вероники.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

(М. Ю. Лермонтов)

«О если б без слова / Сказаться душой было можно!» (А. Фет) Томление по «неслыханной простоте» и есть томление по разговору, который выше, тоньше, точнее, бесспорнее слов. То есть томление по разговору без слов. Писать без слов – легче легкого и сложнее сложного. Легко – потому что такая поэзия почти лишена метафор. Эпитеты – первые попавшиеся, да и вообще она – простая, как мычанье. Сложно – потому что эти «никакие» слова должны (простите за эксплуатацию образа) совпасть с движением воздушного потока, что почти невозможно. Каждое такое совпадение – счастливый случай. Ошибись хоть чуть-чуть: усиль звук, укороти или удлини строку, и все пропало – стих не взлетит. Это как с воздушным змеем: то ли леска коротка, то ли змей тяжеловат, то ли погода не вышла, но не летит. Зато если стихотворение взлетело, то летит вечно.

Слова? – Их не было. – Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли

(Александр Блок)

Сиянье им руководит. Георгий Иванов

Георгий Иванов обладал редкой способностью заглядывать за край бытия. Для него это было так же естественно, как заглянуть за шкаф или за печку. Подробности предметного мира не застили ему вечности. Более того, вечность для него – реальность большая, чем сама реальность. Он с ней накоротке: «...старое мое пальто / Закатом слева залито, / А справа тонет в звездах».

«Мы тешимся самообманами», – утверждает Георгий Иванов. Но самообман – это то, чего начисто лишена его поэзия. Она трезва, иронична, написана при беспощадном свете вечности, в ее присутствии и масштабе. Ею поверяется все:

Да, – и то, что зовется любовью,
Да, – и то, что надеждой звалось,
Да, – и то, что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось.

«Мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки», – говорит поэт, в стихах которого почти нет пустяков. Мир конкретный, осязаемый, зримый – редкий гость в его поэзии:

На юге Франции прекрасны
Альпийский холод, нежный зной.
Шипит суглинок желто-красный
Под аметистовой волной.
И дети, крабов собирая,
Смеясь медузам и волнам,
Подходят к самой двери рая,
Который только снится нам.

Но и эта столь не характерная для Иванова тщательно прописанная радужная картинка завершается строкой: «Сияет вечное страданье, / Крылами чаек трепеща». Даже лучезарный юг не способен заставить поэта забыть, что «души – им нельзя помочь, / Со стоном улетают прочь, / Со стоном в вечность улетают».

«Бесконечность, пропасть, эфир, пустота, бесконечность, пропасть», – как замороженный твердит поэт, сомнамбулически идя им навстречу.

Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.

Его нельзя будить. Да и способен ли этот мир разбудить его? Что такое земная жизнь перед лицом вечности? Тщета и гиль. А раз так, то стоит ли искать для нее какие-то особые слова? Довольно и самых общих:

По улицам рассеянны мы бродим,

На женщин смотрим и в кафе сидим...

Над розовым морем вставала луна
Во льду зеленела бутылка вина...

И люди кричат, экипажи летят,
Сверкает огнями Конкорд...

И все же существует нечто, ради чего стоит оторваться от созерцания бездны.

Теперь бы чуточку безопасности,
Взглянуть на Павловск из окна.
А рассуждения о вечности...
Да и кому она нужна?

Россия. При воспоминании о ней взгляд теплеет, и появляются столь несвойственные
Георгий Иванову детали и подробности, согретые живым дыханием:

За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

Абажур зажегся матово
В голубой овальной комнате.
Нежно глядя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

Его отношения с Россией удивительно похожи на отношения с вечностью: та же зачарованность, та же обреченность и та же усталость.

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но, что мне просить у Бога,
И бессмыслица, и грех.

Подобно тому, как поэт на все лады перебирает синонимы вечности, он на все лады перебирает синонимы России: Павловск, Царское, Нева, петербургская выюга, Павловск, Царское, Россия, Россия. Он приговорен к ней так же, как к бездне.

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.
И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски

Поля с колющейся рожью,
Березки, дымки, огоньки...

Вопреки утверждению поэта всё стихотворение – плач по России. Многократно повторенное «о» (больше, томно, пропасть, помню) звучат, как жалоба и протяжный стон, а нежные и горестные звуки последних двух строк, «березки, дымки, огоньки» с уменьшительно-ласкательным суффиксом – есть (которое по счету!) признание в любви.

Итак, позади Россия – недостижимая и туманная. Впереди – бездна, неизбежная и туманная. А в настоящем —

Туман. Передо мной дорога,
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
Точнее – ничего не жду.

Казалось бы, полная безысходность и нечем дышать. Но в том-то и секрет поэзии Георгия Иванова, что вся она, как ни парадоксально это звучит, из света и воздуха. Причем, воздуха грозового, богатого озоном. Простите за плохую физику, но стихи Иванова созданы из полярно заряженных частиц, что ведет к разряду, яркой вспышке, преображающей и очищающей все стиховое пространство. Его поэзия существует «там, где боль сливается со счастьем», «на границе счастья и беды», «сиянья и гибели».

Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре,
Не оглянувшись, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.

Откуда катарсис? Первая строфа – сплошной свет: солнце, белая лошадь, платки и рубашки, которые тоже почему-то кажутся белыми. Но свет этот – тревожный. Предвесенняя дрожь и невесть куда бредущая лошадь без упряжи внушают тревогу. И она неслучайна. Вторая строфа – безысходность и полный провал из яркого света в глухую дыру (даром что европейскую). Что же дальше? Да ничего: апатия и тоска: «хоть поскучать бы... Но я не скучаю». И вдруг – сплошные разряды и вспышки, возникающие от столкновения разнозаряженных частиц: «Жизнь потерял, а покой берегу. / Письма от мертвых друзей получаю...» И все это завершается коротким, но мощным взрывом не то отчаяния, не то веселья: «И, прочитав, с облегчением жгу / На голубом предвесеннем снегу». С облегчением? Да, с облегчением. Откуда

оно? Да с отчаяния. Отчаяние все может. Оно даже способно стать источником света, причиной веселья и ликования:

За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то – что не надо другого!

Надо только, чтоб отчаяние было безмерным. Когда оно переходит все границы, становится отчаянно весело:

Невероятно до смешного:
Был целый мир и нет его...
Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова
Ну, абсолютно ничего!

<...>

Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут, – вот умора!
Но как странно – во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.

Отчаяние Георгия Иванова особое. Он так с ним сроднился, что оно стало привычным, как дом родной.

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье
И мы в отчаянье пришли.

В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Магическая поэзия, где даже тьма флуоресцирует, а конец оказывается не тупиком, а дверью, «распахнутой в восторг развоплощения». Чего стоят эти ударные «ах» и «о», звучащие как восклицание потрясенной души, уже почти свободной, но еще цепляющейся за земную жизнь и свою брентную оболочку (произнесите «развоплощение» и вы зацепитесь, споткнетесь за эти сдвоенные «зв» и «пл»).

Удивительная поэзия, где «погибшее счастье летит», страдание сияет, «смерть, как парус, шумит за кормой...» и «полную грудь поется, когда уже не о чем петь». Поэзия, в которой безысходность и музыка – синонимы.

Я не стал не лучше и не хуже.
Под ногами тот же прах земной,
Только расстояние стало уже

Между вечной музыкой и мной.

Жду, когда исчезнет расстояние,
Жду, когда исчезнут все слова,
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.

1994

Энергия отчаяния. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич

Это скучное слово *уныние*, состоящее из двух одинаковых согласных и четырех гласных, одна из которых напоминает тоскливый собачий вой, а прочие настолько узки и тесны, что не выпускают ничего значительного. Уныние – это вялость, апатия, атрофия мышц и чувствительности. На мертвой почве уныния ничего не растет. Уныние – грех.

То ли дело отчаяние. Оно и звучит иначе. В этих судорожно цепляющихся друг за друга ТЧ чудится энергия сопротивления. В разверстых АЯ – несмолкаемый крик. Если уныние – убитый нерв, то отчаяние – живая боль: тупая, острая, фантомная, какая угодно, но непременно живая. «Не теряй отчаяния», – сказал Ахматовой Пунин, когда его, арестованного, уводили из дома. То есть мучайся, страдай, заламывай руки, бейся головой об стену, кричи на крик или просто замри, уставившись в одну точку, но не теряй чувствительности. Только мертвым не больно.

Отчаяние – результат лобового столкновения с действительностью, неотвратимостью, упрямой судьбой. Столкновение такой силы, что искры сыплются из глаз, что видишь звезды, как говорят англичане. Отчаяние – звездный час, который – случается, и такое – может длиться долго. Так звездный час Георгия Иванова растянулся на несколько десятков эмигрантских лет.

С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.
Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.
...
Пожалуй, нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.

В «глухой европейской дыре» Георгия Иванова то и дело что-то вспыхивает, мерцает, сияет, светится: то первая звезда «в тускнеющий вечерний час», то мучительные и сладкие воспоминания о «русском снеге, русской стуже», то просто «рифма заблестит». И сколько бы ни уверял поэт себя и читателя в своем «безразличье к жизни, к вечности, к судьбе», он бесконечно от него далек, и мается его душа, и захлебывается от горя, и болит от воспоминаний, и плачет по ночам «от жалости и страха».

Не надо. Нет, не плачь.
...О, если бы с размаха
Мне голову палач!

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало...

Освободиться, забыть себя, потерять чувствительность, избавиться от бесполезного и бессмысленного бытия – вот рефрен его поэзии.

Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Разможжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!
Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели —
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

Сколько, однако, энергии, страсти, а значит, и жизни, в этом молении о конце. Впрочем, это не столько моление, сколько приказ, усиленный тремя восклицательными знаками: не робей! Разбей! Кончи разом! Слава Всевышнему за то, что Он до сих пор не внял мольбе одного из своих не слишком уравновешенных чад и не покончил «с мукою и музыкой земли», прекрасно сознавая, что и само чадо не вполне уверено, что хочет именно этого, иначе не написало бы таких строк:

Был замысел странно-порочен,
И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

А вот слова другого эмигрантского поэта Владислава Ходасевича, который, как и Георгий Иванов, долгие годы писал под диктовку отчаяния:

Бесполезное — бесполезно:
Продолжается бытие.

О чем? Забыл. Непостижимо.
Как можно жить в тоске такой!
Он вскакивает. Мимо, мимо,
Под ветер, на берег морской!

Колышется его просторный
Пиджак — и, подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он.

И в этих стихах, как и в молении о конце Георгия Иванова — буря и натиск, стремительность и страсть. Как это ни парадоксально, но отчаяние стало для обоих поэтов мощным источником энергии. Их отчаяние наступательно, активно и любит императив:

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере — что хочешь —

Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи.

Вл. Ходасевич

Хорошо – что никого.
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Г. Иванов

И снова Ходасевич:

Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застилая ночи.

Смотрю в упор, но, вопреки смыслу сказанного, вижу только свет – такой силой воздействия обладает слово «брызжет».

И тем не менее «европейская ночь» Ходасевича темнее ивановской. Если в ночи Ходасевича и вспыхивает свет, то локальный, имеющий вполне конкретный и весьма прозаический источник:

Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак...

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей,
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Случается, что, подпитывая свою тоску, Ходасевич намеренно изгоняет из своего пространства всякий свет, кроме искусственного:

Великая вокруг меня пустыня,
И я – великий в той пустыне постник.
Взойдет ли день – я шторы опускаю,
Чтоб солнечные бесы на стенах
Кинематограф свой не учиняли.
Настанет ночь – поддельным слабым светом
Я разгоняю мрак и в круге лампы
Сгибаю спину и скриплю пером, —
А звезды без меня своей дорогой
Пускай идут.

Но коль скоро поэт скрипит пером, значит что-то ему все-таки светит. Ну хотя бы искра божья, которая наполняет перо «трепещущим, колючим током», или вспыхнувшая рифма. А вспышка рифмы – это вспышка надежды: «Я чающий и говорящий» (Ходасевич). «Отчаяние – состояние крайней безнадежности, ощущение безысходности» – сказано в Толковом словаре. Но вот парадокс: основную часть этого слова составляет «чаяние», и две крохотных, его отрицающих буквы «от» ничего не могут с ним поделаться. Тем более что чаяние – ударная, а значит, самая звучная часть слова. Слова и звуки способны творить чудеса, теряя изначальный смысл и приобретая новый.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных
Льдин взгроможденных толчея.

(В. Ходасевич)

И внутри отчаяния, внутри его разверстых гласных обоим поэтам удавалось дышать «легко и вольно»

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

(В. Ходасевич)

Спасенья нет, но есть великий дар превращать энергию отчаяния в созидательную.

С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой? —
воскликает Иванов.
Как совладать с судьбою-дурой?
Заладила свое – хоть плачь —
вторит ему Ходасевич. Но вот и выход:

Сосредоточенный и хмурый
Орудует смычком скрипач.

Жесткие, совсем непоэтичные слова. Да и может ли скрипач, чья душа «мытарится то отвлечением, то восторгом» убаживать чей-то слух? Вряд ли. Но зато он способен заставить внимлющего ему пережить то, что познал сам – «Дрожь, побежавшую по коже, / Иль ужаса холодный пот». Наверняка и Иванов, и Ходасевич временами утрачивали отчаяние и впадали в уныние, не дающее плодов. И все же отчаяние, слава Богу, побеждало, диктуя странные безысходные, но и ослепительные строки:

Сияет соловьями ночь,
И звезды, как снежинки, тают,
И души – им нельзя помочь —
Со стоном улетают прочь,
Со стоном в вечность улетают.

(Георгий Иванов). 1997

О прозе и поэзии Владимира Набокова

1. «И другое, другое, другое»

Сначала присказка. Осень 76-го. У меня в руках изящный томик с золотым обрезом. Трудно поверить, что это самоделка. Мой приятель ксерокопировал и любовно переплел там-издатовский «Дар». «Как? Ты не читала Набокова?» – однажды удивился он и принес мне этот томик. И вот я гуляю с маленьким сыном в соседней роще и читаю, читаю. Эту книгу нельзя читать быстро и от нее невозможно оторваться. «Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала – всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболев пробегает через пенек. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, – а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгой висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена» («Дар»). Хотя я и отодвигала конец, смакуя каждую строчку, он стремительно приближался. К счастью, мой приятель принес мне «Другие берега», «Весну в Фиальте». Золотая осень набоковской прозы перешла в «набоковскую» зиму, «набоковскую» весну. Наконец закрома оскудели. Все оказалось мной прочтено и перечитано, ксерокопировано и переплетено. Теперь у меня был свой Набоков: три удлиненных, похожих на альбом томика, одетых старушкой переплетчицей в плотную шершавую клетчатую ткань. Вставал вопрос: как жить дальше? Как продлить праздник? После Набокова любой текст казался худосочным, бледным. И вдруг ко мне попали стихи Набокова. Помню, что взяла с собой ксерокопированный стихотворный сборник в путешествие по Пушкинским местам и, сидя на Савкиной Горке, читала вслух своим спутникам самое любимое. А нравилось почти все. Видимо, сказался хмель, оставшийся от запойного чтения набоковской прозы. Потому что когда, спустя годы, я сняла с полки тот же сборник, то испытала удивление совсем другого свойства. Удивляли не шедевры, а стихи средние. И не их количество (каждый поэт имеет право на неудачи), а их качество. Удивляло то, что, если на любой странице набоковской прозы (даже далеко не лучшей) всегда различим некий водяной знак, «заветный вензель», то на средних стихах – ни признака его. Средние стихи настолько лишены родительских черт, что кажутся подкидышами.

От счастья плачет ночь, и вся земля в цвету...
Благоговею, вспоминаю...

Или

Ты вспомнишь свежие и сладостные лета,
золотоствольный лес и встречи у ручья.

А также строки

В хрустальный шар заключены мы были,
и мимо звезд летели мы с тобой,
стремительно, безмолвно мы скользили
из блеска в блеск блаженно-голубой.

Это всё – из ранних стихов, но и в более поздних «и даль горит, и молятся луга» и «роняют слезы рая соцветья вешние, склонясь через плетень». Да Набоков ли – автор этих пышных, произнесенных на полном серьезе слов? Набоков ли, сбивающий с котурнов любую высокопарность в прозе, ткёт стихи из «жгучей грусти», «изумрудных теней» и «розовых звезд»? Казалось бы, именно он должен был бы первым высмеять подобную поэзию. Но нет. Составляя в последние годы жизни свой почти полный стихотворный сборник, увидевший свет уже после его смерти («Ардис», 1979), Набоков включает в него и эти «роскошные» стихи. И приходится верить, что один и тот же поэт – автор приторных строк и бессмертных стихов:

Есть у меня сравнение на примете
для губ твоих, когда целуешь ты:
нагорный снег, мерцающий в Тибете,
горячий ключ и в иное цветы...

И прежде, чем отыщешь знаменитые строки: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, / а точнее сказать я не вправе», непременно наткнешься на стихи, лишенные всякой тайны, кроме одной – тайны исчезновения тайны. Как не задуматься об удивительном явлении: в одну книгу собраны чувствительные произведения сладкоголосого стихотворца и шедевры:

Но воздушным мостом мое слово изогнуто
Через мир, и чредой спицевидных теней
Без конца по нему прохожу я инкогнито
В полыхающий сумрак отчизны моей.

(«Слава»)

Для меня загадка Набокова не только в том, что он знал все секреты словесной магии, но и в том, что умел их начисто забывать. Возникает колоссальный соблазн проследить за всеми этими превращениями. И не только сопоставляя стихи со стихами, но и поэзию с прозой. В набоковскую прозу можно нырять в любом месте – вынырнешь с жемчужиной: «Улица была все такая же влажная, неживленная; ...небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спуская рукава до самой земли...» («Весна в Фиальте»). «Декорация между тем переменилась... Сад в белорозовофиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи – все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого...» («Другие берега»). В стихи так запросто не нырнешь – много мелей, способных вызвать, пользуясь выражением самого поэта, «болезненное разочарование». Это особенно остро чувствуешь, когда в прозе и поэзии находишь родственные мотивы. Вот «грибная» тема:

У входа в парк, в узорах летних дней
скамейка светит, ждет кого-то.
На столике железном перед ней
грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —
что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь

На шляпках выгнутых дырявых;
они во мраке влажном вознеслись
под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,
таких родных, пахучих, мшистых
и слезы леса летнего горят
на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой – посмотри —
плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана внутри
черничным лиловатым соком.

(«Грибы»)

Перед нами гербарий, любовно составленный и бережно хранимый. Гербарий, вызывающий умиление, легкую грусть, но и скуку. Что нам чужой гербарий, когда свой есть.

Но вот на ту же тему в «Других берегах»: «В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудесных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом – смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, – от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца... Под моросящим дождем мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой – вечно запачканной снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближающуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола...» Произошло чудо: исчез засушенный гербарий; все зашевелилось, вздохнуло, ожило, приобрело цвета и запахи и принялось ворожить. В ход пущено все: аллитерации (насыщая, сырым, сытным, смесью, моросящим), скрытая рифма (дождливую, особенно). «Работает» каждый звук, каждая мелочь: «... Лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерил что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили». Вот она – проза повелителя и заклинателя слов, образующих по его приказу миллион неожиданных и случайных связей, помимо тех очевидных, что рождены логикой и синтаксисом; проза, в которой «сточная дыра посреди железного стола» рифмуется с «неведомым местом», в которое слуга унесет собранные матерью грибы, и с «червонной бездной», в которую выпадает из ненастных туч заходящее солнце и куда проваливаемся мы сами со всеми дорогами нам подробностями нашей жизни. И может быть, все мы, подобно той гусенице, идем по краю, не зная, с какого «куста» нас сбили. Вот она – магическая набоковская проза, где от каждого оброченного слова расходятся концентрические круги, до бесконечности расширяющие и видоизменяющие его первоначальное значение. Круги, которые он так точно описал в одном из своих рассказов: «Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, – прыгнула рыба или упал листок, – сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных стихий – толстой речной воды и тонкой воды небесной!» («Круг») А какое наслаждение купаться в этой прозе, которая тоже представляет собой смешение разных стихий, и наблюдать

за неожиданно возникающими, расходящимися кругами смыслов и ассоциаций. Не отсюда ли стереофоническое звучание набоковской прозы, ее стереоскопический эффект, когда простое описание купанья под теплым дождичком или поход за грибами приобретает захватывающие дух вселенские размеры. Избалованные такой прозой, мы ждем того же от стихов, а получаем вот что:

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты...

(«Велосипедист»)

В этом стихотворении, из восьми строф которого я привела лишь две, каждая следующая строфа дарит нам новую подробность, но не новый смысл или оттенок смысла, и уж тем более не новое измерение. И лишь в последних строчках появляется нечто отдаленно напоминающее набоковскую прозу:

Колеса косо пробегают,
не попадая в колею.
Деревья шумно обступают.
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.
Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей.

«Но разглядеть не успеваю, чей вензель вырезан на ней. Я мимо, мимо пролетаю...» Вот, собственно, и все, что есть живого в столь длинном стихотворении.

Стремительность, волшебный сдвиг, катаклизмы, возникающие от неожиданных и непривычных сближений, непредсказуемость каждого следующего слова – все это в прозе: «Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти?.. Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение». («Ultima thule»). А в поэзии – тишь да гладь, даже если она о драматичном:

Я видел: ты плыла в серебряном гробу,
и над тобою звезды плыли,
и стыли на руках, на мертвом легком лбу
концы сырые длинных лилий.

Я знаю: нет тебя. Зачем же мне молва
необычайная перечит?
«Да полно, – говорит, – она жива, жива,
все так же пляшет и лепечет».

Никаких пограничных состояний: о печальном – печально, о трагичном – трагично, о
светлом – светло, будто каждое слово взято из соответствующего ящичка с надлежащей наклей-
кой.

Позволь мечтать... Ты первое страданье
и счастье последнее мое.
Я чувствую движение и дыханье
твоей души... Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье...

«Движение, дыханье, трепетный, дрожащий, мреющий, зыбкий» – во многих стихах
Набокова бездна слов о неуловимом, но ни движения, ни дыхания нет. Слова пойманы и
намертво прикреплены к своему месту. А рифма – не наконечник стрелы, летящей в цель, а
острие булавы, проткнувшей трепетное слово и превратившей его в засохшую коллекционную
бабочку. Но, перебирая эту коллекцию, вдруг натыкаюсь на такое:

Глаза прикрою – и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостинной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы —
пенаты юности моей.

И вот, над полками гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей...

Почему здесь есть жизнь? Казалось бы, та же однородная, беспримесная среда, но... лег-
кий сдвиг, стремительная, как перелет бабочки, смена ракурса – зеркало, потолок, стул, окно
и дальше, дальше – сад, аллея, речка... – и все ожило, заиграло.

Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,

идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

Но листаю дальше и снова тщательно сделанные, по-бунински благозвучные (недаром же Набоков так любил Бунина и посвятил ему свои особенно велеречивые строки), правильные, как прописи, стихи:

Воркующею теплотой шестая —
Чужая – наливается весна.
Всё ждет тебя душа моя простая,
Гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух – как дрожащая вода.

(«Родина»)

Когда я читаю эти строки, на ум приходят жесткие, предельно простые стихи Георгия Иванова на ту же «больную» тему:

Что-то сбудется, что-то не сбудется...
Перемелется все, позабудется...
Но останется эта вот, рыжая,
у заборной калитки трава!

Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

Ни благозвучия, ни изыска, никакой особой изобретательности в рифме или в строфике, но именно от этих, а не от набоковских стихов, перехватывает горло.

Однако и в поэзии Георгия Иванова полно красот, да еще каких. Там и «благоухающие липы» и «шорох волн» и «золотое вино».

Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.

И нет ни России, ни мира
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.

Чем ивановское «дальнее пенье» и «смутная дрожь» лучше набоковского «холодка щемящего» или «сна шумящего»? Почему «рыжая трава» для меня стихи, а «зеленоватые лан-дыши» – прописи? Тайна сия велика есть. И все же именно благодаря Иванову мне удалось хоть немного объяснить себе феномен Набокова. У Набокова значение слов и интонация, с которой они произносятся, временами полностью совпадают:

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.
Взволнованно душа тебя зовет,
текущий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.

(«Родине»)

Романтический словарь, помноженный на столь же романтически приподнятую интонацию – вот в чем корень зла, вот что делает стихи «несъедобными» (too much of a good thing). Строка прогибается под тяжестью пышных слов, которые прибывают и прибывают:

Твой будет взлет неизъяснимо ярок,
а наша встреча – творчески-тиха:
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.

(«Родине»)

Караул! Меня перекормили сладким. Но если я не в состоянии проглотить «каплю солнца в венчике стиха», то почему спокойно, более того, с наслаждением глотаю такие строки?

...Грусть любит лунным пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за кормой...

Никому ни о чем не расскажем,
Никогда не вернемся домой.

(Г. Иванов)

Потому, наверное, что и «лунный пейзаж» и «замученное сердце» и «синее царство эфира» – *все эти красоты, абстракции и штампы произносятся разговорным, будничным, устало-безразличным тоном, снижающим, а иногда и отрицающим сказанное.* Но и это еще не все. За банальным словарем и небрежной интонацией угадывается нечто – боль, горечь, отчаянье, страсть – дающее стихам особую глубину и силу.

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.

И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосющейся рожью,
Березки, дымки, огоньки...

(Г. Иванов)

Учитывая сложную химическую реакцию, в которую вступает словарь, интонация и все, что за ней скрывается, можно себе позволить и «сладкую тоску», и слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом.

Впрочем, сколько ни толкуй об этой поэзии, она все равно остается загадкой сфинкса.

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но чего просить у Бога —
И бессмыслица и грех.

(Г. Иванов)

Где здесь несовпадение интонации со словарем, где противочувствие? Все сказано прямо и просто, а ощущение недоговоренности остается. Не оттого ли это происходит, что стиховая ткань настолько жидкая и словам так просторно, что между ними постоянно сохраняется зазор, «лазейки для души, просветы». Это набоковское выражение всегда приложимо к его прозе и далеко не всегда к поэзии, в которой бывает так душно, что хочется выломать слово из строки, подобно тому, как выламывают доску в заборе. Хочется чего-то неожиданного, внезапного — сквозняка, ветра, способного раскатать «качели слогов равномерных» с такой силой, чтоб они взлетели под небеса, как в лучших стихах поэта:

Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось —
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкою насквозь.

(«Как я люблю тебя»)

Однако тайна «веет, где хочет». И не только там, где есть просветы меж словами, но и там, где слова туго спрессованы, будто поэт до предела сжал плоть стиха, дав вытечь всему лишнему и оставив лишь неисчезающую субстанцию:

Благодарю тебя, Отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет...

(Из романа «Дар»)

Одним из самых таинственных в набоковской поэзии является, по-моему, последнее им написанное стихотворение «Влюбленность». Странность его в том, что о потустороннем, иррациональном сообщается буднично, сухо и скупно:

Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

Рассыпанные повсюду глухие согласные «ч», «т», и особенно засилье «П» (просто, поворот, купавы, паника, пловец и т. д. и т. д.) делают звучание стиха приглушенным, загадочным. Смычное «п» как бы затрудняет артикуляцию, создает преграду для речи, укрощая мысль, мешая ей растекаться по древу и направляя вглубь. «Бездонность, потусторонность» становятся не просто словами в тексте, а самой плотью стиха, его аурой. Куда подевались выпренности, высокопарность, многословие? Нет их и в этом отчаянном обращении к России:

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
...дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

(«К России»)

Все лаконично и сдержанно, но мне было бы страшно заглянуть в лицо человеку, пишущему эти строки, — такая в них тоска и мука. И в который раз пытаюсь заставить себя удерживаться от восклицаний, все же восклицаю: «Не может быть!» Не может быть, чтоб поэт, написавший стихи такой силы, мог сочинить и другие — никакие, вялые:

Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Откуда что берется и куда потом девается? И почему, покидая стихи, всегда живет в прозе, которая имеет свойство вечно не даваться в руки, ускользать. Вот, кажется, разгадал, схватил, ан нет: там уже о другом, о третьем. Если пытаться читать эту прозу быстро, то возникает чувство, которое бывает при взгляде в окно поезда, летящего мимо дивных мест: хочется прыгнуть, задержаться, остаться, но нет, уже поздно, проскочили, проехали. И получается, что Набокова читаешь рывками: то в час по чайной ложке, удивляясь и радуясь, то очертя голову, глотая за страницей страницу в надежде перечитать, вернуться: «В холодной комнате, на руках у беллетриста умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти... Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе» («Другие берега»).

Итак, зима. Станция Сиверская, куда автор высылает своего призрачного представителя встречать французскую гувернантку, приехавшую в Россию из далекой Лозанны учить детей французскому.

«Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень – с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, – несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганием «степью»... В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни... Не забудем и полной луны. Вот она – легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под карачулевых тучек, тронутых радужной рябью... Совершенно прелестно, совершенно безлюдно... Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как я попал сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан!».

Вот что вытворяет автор: он на полном ходу соскакивает с саней, им же самим вызванных из небытия и пущенных по давно несуществующей колее, заставляя нас последовать за ним. Мы растерянно озираемся. Неужели все сон, иллюзия? Мы еще во власти движения, а нам уже велят остановиться: «Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтоб набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается у меня промеж пальцев».

Стремительная смена скоростей, перепады настроений, пребывание сразу в нескольких измерениях – вот что такое набоковская проза. И это роднит ее с поэзией такого другого, такого на первый взгляд непохожего автора, как Георгий Иванов. Именно его стихи существуют «на пороге как бы двойного бытия», «на границе снега и таянья, / неподвижности и движения, / легкомыслия и отчаянья», «на границе смешения двух стихий – толстой речной воды и тонкой воды небесной».

– Когда-нибудь, когда устанешь ты,
Устанешь до последнего предела...

– Но я и так устал до тошноты,
До отвращения...

– Тогда другое дело.

Тогда – спокойно, не спеша, проверь
Все мысли, все дела, все ощущения,
И, если перевесит отвращенье —

Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья.

(Г. Иванов)

Виртуозный переход из регистра в регистр, из одной тональности в другую, сближение комического и трагического – все, что мы находим в стихах Г. Иванова, есть в прозе Набокова. Вот французская гувернантка, чей «русский словарь состоял из одного короткого слова – того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя девять лет она увезла обратно в родную Лозанну. Это простое словечко "где" превращалось у нее в "гиди-э" и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. "Гиди-э, гиди-э?", заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят». («Другие берега»). Казалось бы, смешные физиологические подробности высвечивают ужас, непереносимость случившегося. Вот кусочек из «Ultima Thule», в котором герой оплакивает смерть любимой женщины:

«О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, – и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на Б и на У и все это такая унижительная физическая чушь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, вперемежку со слезами, зевота, – ах, не могу без тебя... и высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня?» («Весна в Фиальте»).

Без этих пограничных состояний получаются пресные вещи: сладостное для автора, но скучное для читателя описание велосипедной прогулки или лодочного путешествия:

Это было в России,
это было в раю...
Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою... —

и так далее, и так далее с массой живописных деталей. И никаких тебе перекатов, порогов, водоворотов, ключей, ничего того, что случается в прозе, где... «когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь назад да назад, стоя на самой корме времени» («Другие берега»).

Но иногда все эти перекааты и пороги случаются в поэзии, и тогда рождается шедевр:

...Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведение диком,
друг степей для тебя не забудет степей.
В длинном стихотворении «Слава» писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетет
мысль о контакте с сознанием читателя.
К сожалению, и это навек пропадет.
...И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи, так быстра
золотая становится запись.
...Но однажды, пласты разуменья дробя,

углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир, и себя,
и другое, другое, другое.

(«Слава»)

Итак, ни одна строка набоковской прозы, как и лучших его стихов, не равна самой себе. В ней всегда, кроме названного, присутствует нечто другое. И это роднит его с Ивановым. Существует еще одна черта, общая для обоих – чувство вечности, открытость бездне:

Приближается звездная вечность,
Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.

...

За пределами жизни и мира,
В пропастях ледяного эфира...

...

Гляди в холодное ничто,
В сияньи постигая то,
Что выше пониманья.

Это Георгий Иванов. В отличие от него Набоков редко говорит о вечности впрямую. Разве что в начале своей автобиографии: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеальными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час».

Вечность, в которую летим, Набоков называет «передней», а вечность преджизненную – «обратной». Иванов зачарован вечностью «передней». К ней он обращается через голову повседневности, едва достаивая своим вниманием зримый, осязаемый, вещный мир. Предстоящая бездна и страшит, и манит. Он и заклинает, и проклинает ее, и зовет.

Жду, когда исчезнет расстояние,
Жду, когда исчезнут все слова
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.

Впереди – бездна, беспамятство, холодное ничто, а позади – туман, сквозь который едва проступают дорогие очертанья:

Над широкой Невой догорал закат,
Цепенели дворцы, чернели мосты.

Это было тысячу лет назад.
Так давно, что забыла ты.

...

Был Петербург, апрель, закатный час,
Сиянье, волны, каменные львы...

Но хочет ли поэт, чтоб туман рассеялся и из небытия выплыло нечто невыносимо яркое, осязаемое, живое и безнадежно утраченное? Не лучше ли спасительный туман?

Все представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники.
Темные волны прекрасной реки...

У Набокова иначе. Его волнует вечность преджизненная. («И в этой вечности обратной блаженство гордое души»). И даже не столько сама вечность, сколько то личное, что в ней исчезает и что можно отвоевать у безличной тьмы. «Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества». Младенчество ближе всего к добытийственной бездне. На губах младенца еще не обсохло облачное млеко. Еще не обрезана пуповина, соединяющая его с нездешними тайнами. В том далеке – густой свет, «падающий на песок сквозь лопастные колеблющиеся дубовые листья», там тенистые комнаты, в которых живет диван с валиками, венские стулья, светло-голубая молочная чашка. Там пахнут вафлями и ванилью.

«Летние сумерки» («сумерки» – какой это томный сиреневый звук!) Время действия: тающая точка посреди десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды – все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера...» («Другие берега»).

Замирение, угасание, таянье, но такое постепенное, продленное, что в него еще можно взглянуть. И если получше взглянуть, то увидишь, как «в гостиную всплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается – и вот, опустилась. – (Движения замедлены, как во сне. Воспоминания – тот же сон.) – Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем, как ирис, посередине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньями маркизовых зимних игр» («Другие берега»).

Мнемозина водит автора кругами памяти. Снова круги, расходящиеся до вселенских размеров: круглый стол, круглый абажур, кругосветно украшенный по шелку. И в центре всей этой канувшей Вселенной – керосиновая лампа, единственный источник света. Автор постоянно раздвигает рамки повествования, но делает это как бы между прочим, незаметно, исподтишка. Ну хотя бы с помощью зеркал, которых так много в его прозе: «...теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей...» («Дар»).

«Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном...» («Другие берега»). «Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается... в овальном зеркале над канапе... Зеркало насыщено июльским днем...» («Другие берега»).

В «обратной» вечности Набокова – никакого тумана, никаких абстракций. Там даже облака конкретны: «Я смотрел на крутое летнее облако – и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве». («Другие берега»).

Загадка набоковской прозы в том, что обилие мельчайших подробностей (там и ореховые скорлупки под диваном и насаженный на вилку комочек говядины, которым мать собирается угостить любимую таксу) не застит вечности; что строка, в которой выверено и взвешено на самых чувствительных весах каждое слово, кажется спонтанной, подвижной, текучей. Мир, сотворенный с помощью такой строки, существует одновременно на земле и во Вселенной, во времени и вне времени. Он играет с нами в странные игры, то максимально приближаясь, то

стремительно удаляясь, будто мы подносим к глазам бинокль то одной его стороной, то другой. Как ни странно, но такое же чувство безграничного пространства рождает поэзия Иванова, в которой, казалось бы, нет ничего, кроме штампов и абстракций – «все кое-как и как-нибудь, волшебю, на авось...» Но в том-то и дело, что волшебю. В том-то и дело, что на ивановских банальностях лежит отблеск вечности, что строка его так же не кончается, бесконечно резонируя и рождая гулкое эхо, как и строка Набокова:

«...И все это мы когда-нибудь вспомним, – и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот на углу – дом. Прощай же, книга! Для видений отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я, продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка». («Дар»). И никогда не кончится.

Лучшие вещи Набокова – стихи ли, проза – завершаются не точкой, а многоточием (даже если его нет на бумаге), не тоникой, а лишь томлением по ней. И это вполне в характере русской речи, которую Набоков назвал «музыкально-недоговоренной». В России разговор не кончается, так как является самоцелью, а не способом решить проблему. Здесь не так важно договориться, как необходимо поговорить. («Перед тем, как умереть, надо же поговорить». Г. Иванов). В России и вначале было слово, и потом, и вечно. И столько у него разных флексий, суффиксов и префиксов, способных менять смысл и оттенки смысла, будто от этих перемен зависит судьба. Власть над словом – великий дар. Владеющий словом может «справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает». («Другие берега»).

Взявшись проследить за тем, как имеющий безграничную власть над словом, ее в одночасье теряет, чтоб столь же молниеносно обрести снова, я наверняка обрекла себя на неудачу: слишком загадочна планета «Набоков», чтоб можно было так запросто разгуливать по ней в роли исследователя. И все эти поползновения, их неизбежность и тщету предвидел мастер:

Увы! Чтоб ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

1994

2. «И со мной моя тайна всечасно»¹

Подумать только: долго-долго писать про «благоуханную ткань облака, сладостные лета, лилейную луну», и вдруг однажды написать: *«Отвяжись, я тебя умоляю! / Вечер страшен, гул жизни затих. / Я беспомощен. Я умираю / от слепых наплываний твоих»* («К России»). Наверное, ради этого и стоит жить – ради этих невероятных внутренних перемен, ради этой загадочной эволюции. Конечно же, никакого «вдруг» не было, можно даже проследить, как эта эволюция происходила, но куда заманчивей, перескочив через года и сотню страниц книги,

¹ Отклик на книгу «Владимир Набоков. Стихи», Азбука, С-Пб, 2015.

попасть из мира «сонного и сладостного лепета» в тот мир, где живет строка: *«Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, / а точнее сказать я не вправе»* («Слава»). Если даже сам автор оставляет тайну тайной, то зачем нам пытаться препарировать нерукотворный процесс превращения автора клишированных анемичных строк в поэта, написавшего несколько стихотворений, без которых трудно сегодня представить себе русскую поэзию.

И все же не могу не задавать самой себе вопросы. Ведь случай Набокова особый – сплошные загадки: почти сразу виртуозная проза (казалось, даже не было периода ученичества) и беспомощные, даже порой трогательные в своей беспомощности стихи. Листаю книгу, составленную самим автором незадолго до смерти в 1977 году, и то и дело спотыкаюсь о «лепестки фиалок», о «бирюзовые купола», о «лепечущую тень». И это еще одна загадка: почему поэт, написавший несколько шедевров, поместил в этот итоговый сборник огромное количество неправдоподобно слабых стихов?

Где-то в конце 70-ых мне попали в руки ксерокопии набоковской прозы, изданной за рубежом. Я влюбилась в «Дар», в «Другие берега», в «Весну в Фиальте». А чуть позже мне подарили ксерокопированный любовно кем-то переплетенный тамиздатский сборник стихов. Я открыла его и совершенно растерялась. Меня поразило все: и обилие невозможно слабых стихов и те несколько шедевров, которые я тогда прочла впервые. Сегодня я держу в руках ту же книгу стихов, переизданную издательством «Азбука» в 2015 году, и снова удивляюсь: почему Набокову так дороги эти откровенно слабые стихи, написанные в основном в 20-ые годы? Почему ему так нужен «сонный, сладостный в аллеях шепот»? Почему он не захотел расстаться с «лилией в светящейся руке»? Почему эти стихи составляют большую часть им самим составленной и оказавшейся прощальной книги? А может быть, он любил себя того, каким был, когда писал эти стихи? Может быть, ему дорога та часть его души, которая диктовала ему эти простодушные, подражательные, но абсолютно искренние строки? Может быть, когда он их писал, он был ближе к России – к своим любимым Выре, Рождествено? И отказаться от этих стихов значило для него отказаться от всего, что было дорого когда-то? Может быть, не будь их, не было бы ни «Славы», ни «Влюбленности», ни «К России», ни «Расстрела» – ни всего того, без чего наша поэзия уже непредставима? И я смиренно листаю книгу, чтобы, добравшись до 240-ой страницы прочесть *«дорогими слепыми глазами / не смотри на меня, пожалей, / не ищи в этой угольной яме, / не нащупывай жизни моей!»* (К России)). А на 245-ой прочитать: *«Не доверясь соблазнам дороги большой / или снам, освященным веками, / остаюсь я безбожником с вольной душой / в этом мире, кишашем богами. / Но однажды, пласты разуменья дробя, / углубляясь в свое ключевое, / я увидел, как в зеркале, мир и себя, / и другое, другое, другое»*.

Вот это «другое» и есть, пожалуй, главная тема набоковской поэзии. Об этих «лазейках для души», о невидимом, непостижимом – все его лучшие стихи.

Ему даровано ощущение тайны, которая, хоть и прячется, но никогда не исчезает, делая мир бездонным и непредсказуемым. Так и кажется, что поэт не столько ловец бабочек, сколько ловец тайны, за которой он охотится всю жизнь. Но не с помощью сачка, а при помощи слова. Да в общем-то, он и не стремится ее поймать и присвоить. Ему необходим сам процесс поимки: *«...как я люблю тебя. Есть в этом / Вечернем воздухе порой / лазейки для души, просветы / в тончайшей ткани мировой. / Лучи проходят меж стволами. / Как я люблю тебя! Лучи / проходят меж стволами, пламенем / ложатся на стволы. Молчи. / Замри под веткою расцветшей, / вдохни, какое разлилось, – / зажмурься, уменьшишь и в вечное / пройди украдкой насквозь»*. Сбитое дыханье, тревожное нетерпенье, призывы «замри, вдохни, пройди», как бы убыстряющийся темп речи, похожий на убыстряющиеся шаги – все создает ощущение погони за неуловимым, погони, которая может оборваться лишь тогда, когда удастся пройти в вечное. Это даже и не стихи. Это сама ткань жизни, которую страшно порвать и к которой тянет прикоснуться. Она сквозит, создавая стойкое ощущение, что ТАМ, за ней есть нечто. Эти, пусть даже обманчивые, «лазейки для души», и есть та игра, которая стоит свеч. Это не игра вирту-

озного ироничного мастера с читателем, со словом, не знаю с чем и кем. Это опасная и пленительная игра с самой сквозящей тканью жизни, когда то тянет укрыться от нее в несуществующем темном углу, то, поддавшись соблазну, пройти насквозь.

Последнее стихотворение книги называется «Влюбленность». И в нем о том же – о бездонности, которая и влечет и пугает: *«Мы забываем, что влюбленность / не просто поворот лица, / а под купавами бездонность, / ночная паника пловца. / Покуда снится, снись, влюбленность, / но пробуждением не мучь, / и лучше недоговоренность, / чем эта щель и этот луч. / Напоминаю, что влюбленность не явь, что метины не те, / что, может быть, потусторонность / приотворилась в темноте»*. Тон этого стихотворения совсем иной, чем тон стихов, процитированных выше. В нем ни волнения, ни захлеба, ни сбитого дыхания. Оно суше и, казалось бы, прозаичнее – достаточно вспомнить протокольное словцо «напоминаю», с которого начинается последняя строфа, говорящая о потусторонности. И это сближение прозаизма с загадкой делает стихи незабываемыми.

В стихотворении «К музе», написанном в 1929 году, тридцатилетний Набоков говорит об уже наступившей осени и о некоторой скупости чувств, характерной для его зрелой поэзии: *«я опытен, я скуп и нетерпим, / натертый стих блистает чище меди. / Мы изредка с тобою говорим / через забор, как старые соседи»*.

Эта «скупость» не помешала ему, однако, написать удивительные строки все о той же непостижимости: *«Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный, / все так же на ветру, в одежде оживленной, / к своим же Истина склоняется перстам, / с улыбкой женскою и детскою заботой, / как будто в пригоршне рассматривая что-то, / из-за плеча ее невидимое нам»*. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не выделить слова «на ветру, в одежде оживленной» – так мне хочется, чтобы эту строку заметили, задержались на ней взглядом. Ведь в ней и свежесть, и радость бытия, и то острое чувство непостижимости мира, которое, кажется, и держит поэта на плаву.

Скупость средств, о которой поэт говорит в стихотворении «Муза», продиктовала ему и совсем другие – жесткие, лишённые эпитетов стихи: *«Благодарю тебя, отчизна, / за злую даль благодарю! / Тобою полн, тобой не признан, / я сам с собою говорю. / И в разговоре каждой ночи / сама душа не разберет, / мое ль безумие бормочет, / твоя ли музыка растёт ...»*.

Если все приведенные выше строки есть результат беседы с музой «через забор», как беседуют «старые соседи», то и слава богу. Ведь через забор долетели до поэта и такие стихи: *«Люби лишь то, что редкостно и мнимо, / что крадется окраинами сна, / что злит глупцов, что смердами казнимо; / как родине, будь вымыслу верна.... О, поклянись, что веришь в небылицу, / что будешь только вымыслу верна, / что не запрешь души своей в темницу, / не скажешь, руку протянув: стена»*. Счастлив тот, кто сохранил эту веру в небылицу (синоним тайны), до конца своих лет, кто не уперся в стену, не запер свою душу в темницу и позволил ей охотиться за неуловимым. Набоков из числа таких счастливых.

«Терзай меня – не изменяю в лице». Арсений Тарковский и Владислав Ходасевич

«Прекрасное должно быть величаво». Эти слова вполне можно отнести к поэзии Тарковского.

Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока
Течет по жилам – боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эр и эль святого языка.

Торжественность, приподнятость тона – вот что приходит на ум, когда читаешь эти строки. Каждое стихотворение его – победа гармонии над хаосом. И если гармония – это соразмерность, то любая крайность – ее нарушение. Тарковский никогда не срывается на крик, не рвет страсти в клочья, не захлебывается словами. Вспоминаю его манеру читать стихи – взволнованную и одновременно сдержанную, даже несколько отстраненную. Вспоминаю его особую дикцию, его редуцированные гласные, усиливающие впечатление некоторой закрытости. Никакого половодья чувств, никакой распахнутости. Стих безупречен и дисциплинирован, даже если он о драматичном.

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей...
...
...я лежал в позоре, в наготы,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.

Позор, нагота, кровь – пишет поэт. Но эпический характер стихов лишает эти слова конкретности и натурализма.

И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

О своем затрудненном дыхании поэт повествует столь распевно, что стихи звучат, как речитатив. Лишь один-единственный раз происходит некий сбой, строка как бы укорачивается, темп ускоряется, рождая почти физическое ощущение прерывистого дыхания тяжелобольного:

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут...

Но, будто спохватившись, поэт тот час же начинает дышать ровнее, голос набирает силу, взмывает вверх, и все завершается полнозвучным мажорным аккордом:

Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.
А потом
И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

Хотя поэт и тяжек «всей тяжестью земной», он навеки заморожен дудкой Марсия, его стихия – музыка. Недаром в поэзии Тарковский так часто упоминаются флейта, скрипка, шарманка, дудка.

И управлять я научился ими:
То флейты вызываю, то фаготы,
То арфы. Иногда я просыпаюсь,
А все уже давным-давно звучит,
И кажется – финал не за горами.

Тарковский не способен оскорбить свою музу слишком откровенным выражением чувств и держит строй, несмотря ни на что. «Все эр и эль святого языка» живут в его стихах в мире и согласии, и ничто не может нарушить высокого «музыкального лада». Истовость и надсада чужды ему. Недаром в стихах, посвященных Цветаевой, он пишет:

Не речи, —
нет, я не хочу
Твоих сокровищ – клятв и плачей, —
Пера я не переучу
И горла не переиначу...

О чем бы ни писал поэт – о боли, о разлуке, о войне, о смерти, стихи его настолько музыкальны, что произносить их – наслаждение:

И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю – к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу.

«Голос мой и глух и груб», – обмолвился поэт однажды. Но эти слова не соответствуют действительности и свидетельствуют лишь об одном – о неутолимой жажде гармонии.

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума...

Но «мучительный труд» остается вне нашего поля зрения. Мы видим только соответствие и соразмерность слов, «скрепленных их собственным светом». В своих стихах Тарков-

ский провозглашает исключительно гармоничные отношения с мирозданием, природой, прошлым и даже грядущим, в котором его не будет:

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду, и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.

Так случилось, что я одновременно перечитывала сборники Тарковского и Ходасевича, и невольное сближение их поэзии помогло мне лучше понять ее природу. Оказалось, что, будучи антиподами, эти два поэта тем не менее постоянно окликают друг друга. Несмотря на то, что словарь Ходасевича гораздо прозаичнее, у него часто встречаются столь любимые Тарковским «чудо, ангел, свеча, звезда, душа», но в его поэзии они живут с совершенно иным знаком:

Всё жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром – лишнюю свечу.

Если у Ходасевича звезда срывается на землю, вода становится горькой, сны душат, ангелы тушат солнце, то мир Тарковского совершенно иной – упорядоченный и цельный, в котором студеной водой можно утолить жажду, а звезды, если и падают с неба, то не с разрушительной, а исключительно с романтической целью:

И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

Оба поэта жаждут гармонии, но там, где у Тарковского пусть не прочное, но равновесие, у Ходасевича – «раскачка, выворот, беда», запах тления и «дыхание распада». Даже слово «стройность» сопрягается у него со словом «ад»: «Восстает мой тихий ад / В стройности первоначальной». В стихах обоих поэтов постоянно присутствуют тьма и свет, но если для Тарковского даже чернота «окрылена светом», то Ходасевич видит «как брызжет свет, не застилая

ночи». Оба озабочены собственным местом во времени и пространстве, но если один чувствует себя «ветвью меньшей от ствола России», то другой мучительно переживает разорванную связь времен:

Пускай минувшего не жаль,
Пускай грядущего не надо —
Смотрю с язвительной отрадой
Времен в приближенную даль...
...
Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено.

Мысль о бренности и недолговечности всего земного мучает обоих поэтов, но выводы они делают прямо противоположные:

Ни жить, ни петь почти не стоит,
В непрочной грубости живем...

(Ходасевич).

Пой, хоть время прекратится,
Пой, на то ты и певица,
Пой, душа, тебе простят.

(Тарковский).

Впрочем, все не так просто: и Тарковскому ведома сила земного притяжения: «Дай мне еще наклониться с вершины, / Дай удержаться до первого снега»; и Ходасевич знает небесную тягу:

«Глаз отдыхает, слух не слышит, /
Жизнь потаённо хороша, /
И небом невозбранно дышит /
Почти свободная душа».

Если о поэзии Тарковского можно сказать «стихов одическая рать», то строки Ходасевича воспринимаются, как спонтанная речь, сохранившая всю свойственную ей шероховатость, непосредственность и разговорную интонацию:

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

Впрочем, и у Тарковского есть стихи, лишенные величавой торжественности, стихи, размер которых похож на детскую считалку:

Третьи сутки дождь идет,
Ковыряет серый лед

И вороне на березе
Моет клюв и перья мнет...

Но и в этих, имеющих форму мгновенной зарисовки, строках нет обнаженности чувств. Если поэзия Ходасевича – это открытый разговор, то поэзия Тарковского – постоянное утаивание, ускользание, о котором хочется говорить его же собственными словами:

«Чуть подойду – стоит в семи шагах, /
Рукою манит, подойду – стоит /
В семи шагах, рукою манит... /
И улетела...».

Кажется, вот-вот коснешься болевой точки, оголенного нерва, нащупаешь саму жизнь во всех ее разнообразных проявлениях – ан нет. Вместо «земного ширпотреба» опять – «птицы, звезды и трава», кузнечики и дудка, душа и флейта. А тот предметный мир, который появляется, претерпевает ряд удивительных превращений, меняет масштаб и приобретает символические черты:

На лбу компресс. На горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.

Невольно вспоминается фильм Андрея Тарковского «Зеркало», где любой бытовой штрих укрупнен или окутан дымкой, как бывает, когда предаешься воспоминаниям или видишь сны:

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин, – когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Объектив Ходасевича наведен на резкость. Никакого флера, никаких иллюзий. Поэт все договаривает до конца с почти шокирующей прямоотой:

Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась.
Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.

Шесть коротких строк, семь скупых, будто из учебника грамматики взятых предложений, но в них вместились бездонная тоска, безмерное отчаяние, бесконечная усталость. И снова один поэт окликает другого:

А! Этот сон! Малютка жизнь, дыши,

Возьми мои последние гроши.
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое.

В стихах обоих поэтов речь идет о последней черте, о гибельном часе, но векторы – разные. Если Ходасевич заворочен «мрачными пропастями земли», то Тарковский – горными высями.

...И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

«От земли до самых верхних нот» – вот вектор Тарковского. Да и земля у них разная: если Ходасевича постоянно мучает ее неприглядность («Все высвистано, прособачено, / Вот так и шлепай по грязи...»), то Тарковский видит землю преображенной и очищенной от всего случайного и преходящего:

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

И человек, живущий на земле, разный у этих двух поэтов. Если Ходасевич о нем отнюдь невысокого мнения («уродики, уродища, уроды / Весь день озерные мутили воды»), то в восприятии Тарковского человек масштабен и значителен:

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Обладая столь разным устройством, оба поэта тоскуют (и эта тоска их роднит) по качествам, которых они лишены: Тарковский – по таланту говорить «с последней прямокой» (... когда мы умираем, / Оказывается, что ни полслова / Не написали о себе самих...); Ходасевич – по умению творить гармонию («О, если б мой предсмертный стон / Облечь в отчетливую оду!»). И все же каждый остается при своем:

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот...

(Ходасевич).

Ни холодного пота, ни дрожи нет в поэзии Тарковского. Зато есть другое:

Сквозил я, как рыбацья сеть,
И над землею мог висеть.

Если для Ходасевича стихотворение – это продолжение внутреннего монолога («Бог знает, что себе бормочешь, / Ища пенсне или ключи»), то для Тарковского – выход в иное измерение. Если Ходасевич «кричит и бьется» на наших глазах, то Тарковский является читателю олимпийцем, готовым еще раз продемонстрировать «высоты властительную тягу».

«Взглянули бы, как я под током бьюсь / И гнусь, как язь в руках у рыболова, / Когда я перевоплощаюсь в слово». Но нам не дано этого увидеть, поскольку сей болезненный процесс происходит до стихов, а читатель становится лишь «свидетелем свободного полета». Если Тарковский берётся за перо, когда внутренний разлад уже преодолен, то, читая Ходасевича, мы являемся очевидцами и даже соучастниками мучительной процедуры превращения «бессвязных и страстных речей» в музыку!

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои:
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забыты.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвий.

Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
стопы опирает – Орфей.

«Я сам над собой вырастаю, / Над мертвым встаю бытием» – так мог бы сказать Тарковский. В этой горней точке происходит встреча обоих столь разных, столь несовпадающих по многим параметрам и все же непостижимым образом взаимодействующих друг с другом поэтов. Но если в поэзии Тарковского гармония дается читателю как незаслуженный дар, то в стихотворении Ходасевича она рождается на наших глазах. Более того, возникает чувство, что она творится усилиями не только поэта, но и посвященного в это таинство читателя, который вместе с поэтом мучительно преодолевает «косную, нищую скудость безвыходной жизни своей».

«Терзай меня – не изменюсь в лице», – говорит Тарковский. Это великое свойство. Но иногда необходимо видеть, как лицо, искаженное страхом и болью, вдруг преображается и озаряется улыбкой счастья, а из губ вырывается не стон, а песня.

1996.

«Смутный опыт». Владислав Ходасевич и Нина Берберова

*Моей природе противно всякое
расщепление или раздвоение.*
Нина Берберова

*И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побегавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот,
Иль сон, где, некогда единый, —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.*
Владислав Ходасевич

Несколько лет назад в телепередаче, посвященной некоему центру психологической помощи, доктор, беседуя с пациенткой, предложил ей поделиться со зрителями своими проблемами. Молодая женщина, кусая губы и теребя платок, поведала о своем мучительном состоянии. Она страдала от того, что, безумно любя мужа, не могла в полной мере выразить свое чувство. «Я его люблю, и он меня тоже, – с трудом сдерживая рыдания говорила женщина, – но, что бы мы ни делали друг для друга, всё – слабее нашей любви. Это длится уже два года, и мы вконец извелись». Болезнь? Конечно. Но в этом клиническом случае заключена какая – то глубокая истина. Двое умирали от любви, любви взаимной, страстной, умирали от счастья, «от жажды умирали над ручьем». От такой любви один шаг – нет, не до ненависти – до состояния полной опустошенности. Но лишь она позволяет «вщупаться, всосаться в таинственное бытие». Это строки Ходасевича, о котором его многолетняя спутница Нина Берберова в своих воспоминаниях писала: «Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты... и обид... Он боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом». С таким человеком трудно жить, но и ему самому с собой трудно. Не обладая ни здравым смыслом, ни трезвым взглядом на вещи, он обладал *избыточным чувством жизни*, которое – почти болезнь.

Хожу – и в ужасе внимаю
Шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук! А между тем...

И каждый ваш неслышный шепот,
И каждый вам незримый свет
Обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред.

«Смутный опыт»... Это совсем не то же самое, что опыт жизненный, позволяющий делать верные шаги в нужном направлении и адекватно реагировать на окружающую действительность. Смутный опыт не помогает жить. Скорее наоборот: он терзает душу до такой степени, что она в какой – то момент перестает отзываться на «призывы бытия»: «И как – то

тяжко, больно даже / Душою жить – в который раз...». Тоска – вот неизбежное следствие повышенной восприимчивости. «Он болеет, он падает духом, – пишет Берберова. – Он говорит, что высыхает и не может писать стихи. Ему нужен кто – то, кому он может пожаловаться, вслух пожалеть себя, сказать о своих снах и страхах – он раздавлен ими, и он перекладывает их на меня...». Да разве их можно переложить? Это – пожизненная ноша, от которой освобождает только смерть, хотя порой кажется, что и смерть не дает избавления.

Как выскажу своим косноязычьем
Всю боль, весь яд?
Язык мой стал звериным или птичьим,
Уста молчат.

И ничего не нужно мне на свете,
И стыдно мне,
Что суждены мне вечно пытки эти
В его огне;

Что даже смертью гордой своевольной,
Не вырвусь я;
Что и она – такой же, хоть окольный,
Путь бытия.

Налицо странное противоречие: обладая мощным чувством жизни, поэт думает о том, чтоб с ней расстаться. Но нет и не может быть гармонии в душе того, с кем природа заключила тайный договор: подарив ему рецепторы, с помощью которых он способен принимать особые мало кому внятные сигналы, она лишила его элементарных защитных свойств, без которых любая жизнедеятельность трудна и проблематична. И когда поэт теряет способность претворять в слова свой смутный опыт, он чувствует себя последним из смертных, оставаясь наедине с многочисленными фобиями, болячками, дурными предчувствиями и снами. И кто знает, будет ли новый взлет?

В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья,
В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.

Взлет, паденье – все в руках Божьих. «Не я, но мною», – так чувствует поэт. Создавая нечто новое, он, тем не менее, ощущает себя лицом страдательным:

И я творю из ничего /
твои моря, пустыни, горы /
Всю славу солнца твоего, /
Так ослепляющего взоры, —

в то время как его спутница – решительная сторонница залога активного, причем с самого раннего детства: «Я смахнула руку (матери) и глубоко вздохнула, словно стащила со своего лица подушку, пытавшуюся меня задушить. От чего, от каких ужасов и страхов, видений и катастроф, от каких обид, болезней и печалей хотят защитить меня? Я готова к ним, я жду их, я рвусь к ним». Напор и натиск. Так и надо жить, отсекая все лишнее, бесплодное, меша-

ющее неуклонному движению вперед, от победы к победе – «над собой, разумеется, не данной свыше, а лично приобретенной». Страхи? От них необходимо избавляться. Прошлое? «Я не умею любить прошлое ради его «погибшей прелести»...» Дом? Уют? «Психология гнезда мне омерзительна, и я всегда сочувствую тому, кто бежит из гнезда...» Даже рождественская елка ей противна, как символ гнезда, и она испытывает счастье, когда мертвое дерево выносят из дома. (Можно ли тут не вспомнить строки Пастернака: «Как я люблю ее в первые дни / Только что из лесу или с метели!» Но ведь он, по мнению Берберовой, так и не стал взрослым, так и не созрел, как, впрочем, и Цветаева). Никакой сумятицы чувств, никаких неразрешимых противоречий, ни «дымки грусти», ни «меланхолической слезы» о «навек утраченном». Да здравствует «стосвечовая лампочка (так и кажется, что речь идет о лампочке Ильича – уж больно по – большевистски звучат временами ее речи. – Л. М.), светящая мне прямо в книгу, где все договорено, все досказано, ясный день, черная ночь...»! И ничего трансцендентного. «Бытие есть единственная реальность», ради которой стоит жить. «Жить, жить, жить», – зачарованно повторяет она. Но парадокс в том, что не ей – деятельной и отважной, а ему – хилому и хандрящему, – открылся потаенный, глубинный смысл жизни, то неутешительное знание, тот смутный опыт, который куда дороже «электрического заряда счастья», доступного ей. Единственный опыт, которым могут воспользоваться грядущие поколения, всегда предпочитающие жить своим умом. Но дается он лишь тем, кто навеки болен избыточным чувством жизни, кому суждено оставаться «навек раздвоенным», как сказал Ходасевич о Тютчеве. Лишь ощутившему «вкус пепла» на губах дано временами слышать «биенье совсем иного бытия», лишь несущему в себе «непостижимостей свинец» дано подниматься в запредельные выси. Лишь познавшему беспросветный мрак дано увидеть невероятный свет.

Пока вся кровь не выступит из пор
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом. Жди, смотри в упор,
Как брызжет свет, не застилая очи.

«Моей задачей с годами стало: совлечь с себя по возможности все хаотические черты, уgomонить анархию, расчистить путаницу и двойственность, которые, если их не унять, разрушат человека». Это снова голос Берберовой, ее определенные и четкие формулировки, ее приговор своему вечно страждущему спутнику. Она ушла от него. Он смотрел ей вслед, как смотрят неизлечимо больные вслед здоровым. Ей – жить, а ему – хворать, чтоб иногда, если бог даст, «стихами с собой говорить в забытии». Ей жить и жить долго, чтоб в здравом уме и твердой памяти написать интереснейшие воспоминания о куда менее жизнестойких своих современниках, чья неправильно устроенная, измаявшаяся и беззащитная душа обогатила нас своим смутным опытом.

1996

Перевод с родного на родной

«И дурак понимает Шекспира, но как по-своему!», – воскликнул, если не ошибаюсь, Станислав Ежи Лец. Но разве только дурак? Умный тоже.

«Мысль изреченная есть ложь», – заключил поэт, отчаявшись адекватно передать свои чувства. В таком случае мысль, достигшая чьих-то ушей или глаз, – ложь вдвойне, поскольку неадекватность выражения помножена здесь на неадекватность восприятия. Даже если считать, что поэт пишет, как он слышит (а слышит он, по его собственному неоднократному признанию, Божью диктовку), то и тогда неточности и погрешности неизбежны: ухо смертного, в том числе и поэта, несовершенно.

Но не сам ли Господь Бог создал прецедент, сотворив не тот мир, который замыслил? Настолько не тот, что даже решил его потопить. Однако и постпотопный мир оказался далёким от идеала. Если уж у Всевышнего случаются такие накладки, то нам тем более без них не обойтись. Выходит, ножницы между замыслом и результатом неизбежны. Но, может быть, это и к лучшему? Может быть, только меж двух разомкнутых лезвий и возникает не райская, а истинная жизнь, не диктант – пусть даже и небесный, а поэзия. Сомкнись эти лезвия – и незримый кабель, по которому поступают энергия, сигналы, осуществляются всяческие связи, окажется перерезанным. То есть, выражаясь старомодно-романтическим языком, прервётся нить жизни.

Выходит, дефект слуха или зрения, ведущий к несовершенству восприятия, не только неизбежен, но и необходим. Сам изъян становится достоинством. Цепочка: Божий глас – ухо поэта – ухо слушателя напоминает популярную в моём детстве игру в «испорченный телефон», когда «на выходе» оказывается совсем не то, что «на входе», когда *слово, которое было вначале*, претерпев «ряд волшебных изменений», становится почти неузнаваемым. От него остаётся лишь некий звук, отдалённо напоминающий первоисточник. Но этот звук – целое богатство. На нём-то всё и держится. «Мне созвучны эти стихи», – говорит читатель. То есть, звук не пропал, не растворился в чёрной бездне небытия, а был услышан, уловлен и даже усилен ответным чувством. Это и есть то самое сочувствие, что сродни благодати. Оно выше и важнее понимания, которое никогда не будет полным – таким, какого ждёт поэт, мечтая о читателе: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б...» (Мандельштам); «И как нашёл я друга в поколение, читателя найду в потомстве я...» (Баратынский).

Но даже если поэту сильно повезёт, и он встретит отзывчивого, чуткого, преданного читателя ещё при жизни, то и тогда поэт вряд ли будет удовлетворён. Ему всё равно будет казаться, что он не понят, не так понят, не до конца понят. Недаром его почти всегда «ломает», когда он слушает свои стихи в чужом исполнении. Всё не по нему: интонация, акценты, само звучание. Но поэт забывает, что слышит не оригинал, а перевод. Перевод с языка его души на язык читателя. А перевод невозможен без многочисленных изменений. И не только невольных, но и намеренных. Один мудрый переводчик с разнообразных языков на русский сказал: «Чтоб было "так", надо, чтоб стало "иначе"». То есть, чтоб максимально приблизиться к оригиналу, вернее, приблизить оригинал к носителю другого языка, то бишь, к обитателю иной планеты, необходимо многое изменить. В пределах родной речи перевод осуществляет сам читатель и делает это в соответствии со своими природными данными, слухом, вкусом и так далее. Но как бы бережно и целомудренно он ни обращался с оригиналом, поэт всё равно найдёт сплошные несоответствия и впадёт в тоску. Слияние душ невозможно, да и не нужно, потому что уничтожает самое ценное: некий люфт, зазор, необходимый для полёта мысли и вольной игры воображения. Дистанцию, при которой притупляется взаимный интерес. Томление по слиянию душ куда важнее самого слияния, так как заставляет пробиваться друг к другу любыми путями, преодолевая всяческие барьеры: языковой, возрастной, временной, психологический.

Когда-то Всевышний, решив покарать гордецов, попытавшихся возвести башню до самого неба, лишил их общего языка, а тем самым и возможности продолжать строительство. Однако и общий язык не гарантирует гармонии и полного взаимопонимания. Во всяком случае, когда речь идёт о тонких материях.

Что связывает нас? Всех нас? —
Взаимное непониманье...

(Г. Иванов)

Фраза звучит парадоксально и грустно. Но если считать «непониманием» свойство всё понимать по-своему, то парадокс исчезает, а вместе с ним и грусть. Более того, ивановская строка начинает звучать почти оптимистично (представляю, как был бы шокирован поэт подобной отсебятиной), потому что только благодаря способности всё толковать на свой лад, мы и откликаемся на чьи-то слова. Лишь благодаря привычке домысливать, додумывать, припоминать своё, мы реагируем на чьи-то сигналы, воспринимая «чужих певцов блуждающие сны» как свои собственные.

А если так, то строка Г. Иванова абсолютно точна: нас связывает то, что, как будто бы, должно разъединять: несоответствие между произнесённым и услышанным, написанным и прочитанным. Причём связывает куда больше, чем любые примечания, сноски, комментарии, призванные объяснить темноты в тех или иных стихах поэта.

Где-то в середине восьмидесятых меня пригласили в один дом послушать человека, досконально изучившего жизнь и творчество Мандельштама. Он собирался прокомментировать наиболее сложные ассоциативные сцепления в его поэзии. Я не могла пойти, но мой друг — большой поклонник Мандельштама, побывав на этой встрече, сказал, что подобные объяснения, хотя сами по себе и интересны, не столько помогают, сколько мешают восприятию, уничтожая тот «пучок смыслов», о котором любил говорить сам поэт.

Нет, никак нам не обойтись без вечного зазора, способного разрастаться до размеров пропасти, которую каким-то чудом иногда преодолевает «одиноким голос человека».

1997

Его величество пустяк

«Поэзия, следи за пустяком, / Сперва за пустяком, потом за смыслом» (А. Кушнер). Мудрый совет, к которому полезно прислушаться любому – не только поэту. Пустяк, деталь, подробность образуют и плоть стиха, и фактуру жизни. Действуя слишком целенаправленно, мы рискуем пролететь мимо цели, как Шлиман, который в поисках Трои срыл пласты, хранившие ее останки. «Стих держится на выдохе и вдохе, / Любовь – на них, и каждый сдвиг в эпохе» (А. Кушнер). Стихи почти всегда начинаются с пустяка: с интонации, с едва различимого, лишнего внятного смысла созвучия, с «шепотов и звонов». Это Божьи подсказки. Господь сотворил все, но не все им сотворенное найдено. Поэт ничего не выдумывает. Он лишь обладает способностью улавливать то, что не улавливают другие. «Поэзия есть сознание своей правоты», – сказал Мандельштам. Отчего оно возникает? Оттого, наверное, что существует множество доказательств этой правоты. Неожиданные аллитерации, неведь откуда взявшиеся внутренние рифмы, новые непредвиденные оттенки смысла – все это сигналы, звоночки, знаки того, что поэт ищет *там* и *то*. Детали, мелочи щедро вознаграждают за пристальное к ним внимание.

«Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья»

(Мандельштам).

Прежде чем успеваешь понять, о чем эти стихи, ощущаешь их вкус на губах. Льнущие, щекочущие звуки «л», «м», «п» сами подобны поцелую. Вряд ли поэт целенаправленно подбирал подобные созвучия. Они явились плодом его бормотаний, родились из той невнятицы, которая предшествует стихам.

«Как бы цезурой зияет этот день: /
Уже с утра покой и трудные длинноты, /
Волы на пастбище, и золотая лень /
Из тростника извлечь богатство целой ноты»

(Мандельштам).

Ощущение простора и пространства возникает не из смысла сказанного, а из-за протяжности, длительности гласных. Пробежав по безударным слогам, как по ступенькам, отдыхаешь на долгих, как летний день, ударных гласных. Это и есть бесчисленные доказательства правоты поэта. Доказательства того, что созданное им – не случайный набор слов, а нечто изначально существующее и лишь счастливо найденное.

«Годами когда-нибудь в зале концертной /
Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. /
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, /
Прогулки, купанье и клумбу в саду»

(Пастернак).

Доминирующее в первых строках ударное «а» (годАми, когдА, зАле, БрАмса, сыгрАют) сменяется настойчивым «у» (изойдУ прогУлки, клУмба, садУ). Рождается протяжное «ау», как долгий зов, переключка с прошлым. И кажется, что все паузы здесь заполнены эхом. Когда насилуют слово, делая его рабом идеи или антиидеи, когда обращаются с ним, как самодур-хозяин с гуттаперчевым мальчиком, заставляя его проделывать немислимые акробатические трюки, – слово мстит. Внешне послушное, оно оставляет нам только свою оболочку, закрывая доступ к душе. Слово никому ничего не должно. Его назначение – в одном: быть «блаженным и бессмысленным».

Баратынский назвал поэзию «полным ощущением известной минуты». Наверное, чем больше подобных минут, тем *выше качество жизни*. К сожалению, в мире популярны иные оценки. Качество жизни принято определять количеством удобств на душу населения. Причем не только на рациональном Западе, но и на Востоке. Восток, где родилась медитация, где издавна существует культ созерцания, где внимание к деталям столь велико, что чаепитие или составление букета – почти священнодействие, – этот Восток все больше меняет свое лицо, приобретая стандартные западные черты. Целеустремленность, деловитость, эффективность – вот свойства, которыми гордится и стремится обладать нынешний мир, становясь все более механистичным, запрограммированным, единообразным. Подобные тенденции существуют давно. Более века назад говорили о том же. Сегодня эти процессы, как и вообще темп жизни, идут быстрее. Негодовать по этому поводу, становиться таким современным луддитом нелепо и бесполезно. Мир развивается по своим законам, и трудно предвидеть, что будет с ним и с нами завтра. Ясно одно: в этом сверхскоростном, унифицированном мире выражение «полное ощущение известной минуты» звучит анахронизмом. Но именно это ощущение и делает жизнь по-настоящему качественной, и приходит оно, когда решаешься, отступив от мировых стандартов, жить по своим собственным часам – по часам с замедленными стрелками. Лишь тогда «бытие раскрывает пошире свои голубые глазки», и становится внятным то, что прежде проходило незамеченным, казалось несущественным, пустячным – что деревья похожи на японский букет, что снег падает бесшумно, как свет, что из спички вылетает огонь. «Какая, однако же, за всем этим божественная игра!» – восклицает в своей книге «Голос из хора» Абрам Терц, то есть Андрей Синявский. И эту «божественную игру» он разглядел не где-нибудь, а в мордовских лагерях, когда жить невозможно, когда, по его собственным словам, «самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему».

«*Savoir vivre*», – говорят французы. «Умение жить». Не знаю, что они вкладывают в это понятие, но, на мой взгляд, «*savoir vivre*» – это умение чувствовать себя богатым, не имея ни гроша за душой, способность из ничего сколотить капитал, за который трястись не надо, поскольку его нельзя ни украсть, ни пустить по ветру. Дождь, туман, птица, случайный разговор, стихотворная строка, воспоминание – вот они, несметные богатства умеющего жить. Лишенный почти всего, кроме способности видеть, слышать, думать, он тем не менее чувствует себя так, «как будто дали в охапку все сразу, и я стою, прижимая все и ничем не владея, и не знаю, куда положить и что взять». Вот он – баловень судьбы, миллионер, владелец – нет, не «заводов, морей, пароходов», а миллионов минут, прожитых с абсолютным ощущением полноты. Таких баловней судьбы единицы, но именно они не только «умеют жить», но и учат тех, кто не знает своего счастья. Причем учат, не уча и даже не ведая, что учат. Учат лишь тем, что живут по своим часам и расставляют акценты в соответствии со своим представлением о главном и второстепенном, существенном и пустом. «Из чего, собственно, состоит творчество? Да из запаха опилок, расколотого зимой полена, когда оно такое пряное на морозе. Из этого...» – говорит режиссер и художник Юрий Норштейн – еще один баловень судьбы. Чего ни коснется его взгляд, все оживает, пульсирует, дышит, как в сказке братьев Гримм, где от взгляда доброй девочки расцветали цветы, запевали птицы. Там, где для обыкновенного человека унылая пустыня, там для него мощная стихия, звуковая, цветовая, всякая, а любая мелочь

может стать сильнейшим импульсом. «Кадры возникали спонтанно, выскакивали неизвестно откуда», – говорит Норштейн. Фильм «Сказка сказок» начался для него со старого полусгнившего тополя, который рос во дворе. Одинокая фигурка женщины, появившаяся в свете фонаря, чтоб через секунду исчезнуть в ночи, подсказала эпизод на танцплощадке. «Поэзия, следи за пустяком...» *Его величество пустяк* есть молекула жизни, живая клетка, основа человеческого бытия и искусства. Собственно, искусство и есть жизнь, только в ее сгущенной форме. «Когда не происходит ничего, все главное с тобою происходит» (Н. Панченко). У художника все идет в дело, становясь сушняком для его костра. «А что такое искусство? Ты будто греешься у огня, который сам разжег», – говорит Норштейн. Но, разжигая огонь для себя, художник согревает многих, каждого, кто захочет забрести на огонек.

Мне недавно попались на глаза строки о том, что жизнь – это сплошная цепь разочарований, непрерывное расставание с иллюзиями детства и надеждами юности, что человек непременно терпит крах: не в любви, так в творчестве, не в творчестве, так в дружбе, не в дружбе, так в отношениях с детьми. В итоге – разбитое корыто. «Умение жить» – это, наверное, еще и способность оставаться *очарованным странником несмотря и вопреки*, способность сохранить завороченность жизнью.

«Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще? / Таинственна еще»

(А. Кушнер).

Такое умение дается лишь тем, кто способен воспринимать жизнь на молекулярном, на клеточном уровне, то есть на том, на котором она почти никогда не разочаровывает; кто способен сохранить детское умение жить здесь и сейчас, кому дан талант одухотворять сиюминутное и видеть «необъятность в точке тесной» (З. Миркина). С одной стороны, это очень трудно и мало кому доступно, но с другой – предельно легко, потому что для этого не требуется ничего, кроме рецепторов, данных с рождения, и того, что ежесекундно дается свыше: день, ночь, воздух, ветер, смех, слезы, тишина, звуки. Надо только уметь всем этим распорядиться. Так, как когда-то умел заключенный мордовских лагерей. «Интересно думать на минимуме – когда ничего нет, ни книг необходимых, ни сил, негде взять справку. Дано несколько строк или одна музыкальная фраза, и вот в нее погружаешься и начисто забываешь себя». А забыть себя – это уже очень много. Это почти синоним счастья.

Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся не спеши,
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно...
Ты увидишь, жизнь безбрежна
И такая сладость в ней.
Но плавней, плавней, плавней.

1995

Несовпадение

Несовместимость неба и земли есть условие нашего существования. Мы живем в промежулке, возникшем благодаря их неслиянности. А светлая даль, где наконец-то все сходится, есть та морковка, которую вечность не устает держать перед нами: шажок, еще шажок, не сошлось, так сойдется, не нашлось, так найдется, не сегодня так завтра. И так до конца, до точки. Но не до той, желанной, где все сходится, а до мертвой, за которой нет ничего. Несоединимость земного и небесного – модель нашего внутреннего устройства. Вечный зазор между желаемым и возможным, замыслом и воплощением порождает настойчивые попытки его упразднить. И хотя сизифову камню никогда не бывать на вершине горы, а Вавилонская башня никогда не коснется неба, недостижимые высоты кружат голову, томят душу, лишают покоя, заставляя творить миры, где любой разлад устраним и гармония торжествует. Тоника в музыке, симметрия в архитектуре, соразмерность и красота линий в скульптуре – вот компенсация за пожизненную раздвоенность. На картинах старых мастеров небожители то и дело спускаются на грешную землю, чтобы выручить попавшего в беду землянина. Пронзенный множеством стрел, Святой Себастьян принимает муки на безмятежном фоне тихих гор и мирных облаков. Даже «Страшный суд» Микеланджело или его «Пьета» настолько совершенны композиционно, скульптурно – всяко, что вызывают не ужас, а восторг. Небеса недостижимы? Но Бах пишет музыку, которая продиктована небесами, и к ним взмывает. А в одном из самых трагических произведений Бетховена звучит пленительная музыкальная фраза, на которую замечательно ложатся слова: «Синь небес». Равновесие торжествует – если не в тематике, то в цвете; не в цвете, то в композиции; не в композиции, то в пропорциях тел, в позе, в выражении лица. Попытка устранить зазор, соединить несоединимое – вот доминанта искусства. Но так ли это сегодня? Что движет нынешним художником? Похоже, он настолько устал преодолевать и стремиться, что сломался. Ломаные линии его картин не знают и знать не хотят друг о друге, упиваясь собственным одиночеством и изломом. В музыке побеждают диссонанс и разъятость. Диссонансна даже тоника. А мелодия если и возникает, то оказывается очередным наваждением, иллюзией, приманкой и, околдовав, обольстив, рассыпается, расплзается, звук начинает плыть, как бывает, когда падает напряжение в проводах или садятся батарейки.

Мир
Становится ломок и суховат.
Миф
О вечной жизни не стоит гроша.
Осень
Упирается в плаху.
Мир
Хрустит под ногами, вяло крошась.
Время
Отмирает по плану.

Это голос современного поэта. И до чего же он не похож на торжественный голос времен минувших.

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль,
И долговечней – царственное слово.

«Царственное слово» – какой анахронизм! Нет нынче веры в долговечность чего бы то ни было. Тем более слова. Наступила эпоха неочарованного странника, который не столько озабочен тем, чтобы преодолеть внутренний дискомфорт, сколько тем, чтобы лишний раз подчеркнуть его, получив от этого болезненное удовольствие. Устав от иллюзий, он больше не хочет ни светлых далей, ни горних высей. Похерив вертикаль, он стремится к нарочитому заземлению:

Кто-то выбросил рогожу,
Кто-то выплеснул помои,
На заборе чья-то рожа,
Надпись мелом: «Это Зоя».

Отказавшись от небес, он тащится по земной дороге, выкрикивая нечто отрывистое и маловразумительное:

Там торч и таска,
там на приходе
ништяк и тряска,

там дринк на йоде
и джеф на водке,
там леший бродит,

там круче ломки,
когда кидают
из-за коробки...

Это язык тех, кто, впитав с молоком матери всю горечь и весь раздрай времен давних и недавних, не в силах больше говорить всерьез о таинствах и смыслах. Язык тех, кого занимает не преодоление раздвоенности, а умножение картин распада. Язык тех, кто потерял дар речи. Что это – вырождение? А может, рождение? Не присутствуем ли мы при родах? Не сопутствуют ли эти корчи, судороги, потуги возникновению новой гармонии, которую не в силах воспринять наши нынешние рецепторы? Воспитанные на иных образцах, мы ждем, что Афродита появится из пены морской. И если она приходит в мир в виде сморщенного, невзрачного, орущего комочка, мы вряд ли способны узнать ее. Несовпадение – программа земной жизни.

Время все расставит по своим местам, но, увы, лишь тогда, когда вымрут непосредственные участники событий. Вечность ответит на все вопросы, но лишь тогда, когда уйдут задавшие их. Жизнь, зачатая в соитии, идет в навеки разомкнутом пространстве в условиях мучительного несовпадения, упразднить которое можно только упразднив саму жизнь.

1996

Бедная, бедная рифма

Кто-то из моих интернет читателей оставил такой комментарий: «Автор рифмами не заморачивается». И, хоть я не большой любитель писать про то, как пишу, но мне захотелось на эту реплику ответить: заморачиваюсь, еще как заморачиваюсь!

Я до боли люблю точную рифму. Если считать слово стрелой, которая должна попасть в цель, то попадание ей может обеспечить только рифма. Рифма и есть тот самый наконечник, от которого зависит успех всего дела. Точная рифма – это острый наконечник. А вот какую рифму считать точной – это зависит от слуха и от множества других особенностей пишущего. Я, например, не только не чужаюсь глагольных рифм, но даже люблю их. Они больше всех других способны служить острым наконечником стрелы и тем самым достигать цели. Они шаловливы, умны и обладают замечательным чувством юмора. Судите сами:

* * *

Это все до времени
До зари, до темени,
До зимы, до осени,
До небесной просини.
Вздумаешь надеяться —
А оно развеется.
Вздумаешь отчаяться —
А оно кончается.

* * *

Не обладаю нужной хваткой.
В жизнь, что бывает горькой, сладкой,
Не в силах так вцепиться я,
Чтоб знать: она навек моя.
За луч, что так горазд светиться,
Мне б мёртвой хваткой ухватиться,
А я даю ему лизнуть
Меня в лицо и улизнуть.

Можно я не буду шаркать ножкой, прижимать руки к груди и извиняться за самоцитирование? Да, в данном случае мне приходится этим заниматься, потому что я взялась говорить о СВОИХ рифмах.

О как я благодарна этим замечательным глаголам (надеяться-развеется, отчаяться-кончается, лизнуть-улизнуть). Ну что бы я без них делала? И как можно их не любить?

Или вот эти:

«Я потому лишь не сникаю, / Что я в лазурь перо макаю...».

Или эти:

«Как к этой жизни отношусь? / Да я никак не отдышусь...».

Или вот это: «И все – таки всегда возможность есть / Всю горечь жизни чем-нибудь заесть...».

Да кто вообще придумал, что глагольная рифма – это фи, и в приличных домах ей не место? Идите ко мне, бедняжки, я найду для вас местечко.

О, Господи, откуда что берётся?
Откуда свет, что непрерывно льётся?
Откуда воздух, что слегка дрожит?
Откуда время, что всегда бежит?
А, может, нету времени. Есть племя
Придумавшее скорость, сроки, время?

Рифмовать можно всё: и глаголы, и избитые слова (время-племя), и даже (страшно сказать) кровь-любовь:

И проступает одно сквозь другое.
Злое и чуждое сквозь дорогое,
Гольная правда сквозь голый муляж,
Незащищенность сквозь грубый кураж;
Старый рисунок сквозь свежую краску,
Давняя горечь сквозь тихую ласку;
Сквозь безразличие жар и любовь,
Как сквозь повязку горячая кровь.

Все зависит от результата. Если вы попали словом туда, куда хотели, – ура! А не попали, – увы! Но виноваты не глагольные и не избитые рифмы, а вы сами. У вас стихи не получились. И нет никаких общих правил. Есть только удачи и неудачи. А неудачи бывают у всех. Даже у Пушкина. В его конечно же гениальных «стихах, сочиненных ночью во время бессонницы», две последние строчки мучают меня, как зубная боль: «Я понять тебя хочу / Смысла я в тебе ищу...». Будь эти «хочу-ищу» хоть где-то в середине стиха, они бы так не терзали слух, но в конце...

Наверно, все-таки надо попросить прощения за то, что приплела сюда и Пушкина. Да еще не в качестве образца для подражания. Но вообще-то я могла бы привлечь его к разговору в качестве союзника. У него-то тьма тьмущая глагольных рифм.

А рифма – это сладость, это кайф. С ней так весело жить, даже когда жить невесело и пишешь о невеселом. И как это мир обходится без рифмы? А ведь обходится. Рифму уже почти изгнали из мировой поэзии. Она осталась только в качестве lyrics (текста для песни) и в детских стишках. А жива она только у нас в России. Вот чем и впрямь стоит гордиться.

* * *

Я долго со строкой возилась,
Мечтая, чтоб она вонзилась
В чужие души и сердца
Посредством острого конца,
То бишь посредством рифмы точной,
Той, что на кончике проточной
Строки, нетерпеливо ждёт,

Когда ж она влетит, войдёт
В чужую плоть и душу ранит,
И в той душе навек застрянет.

2017

«И всем, чем дышалось...»

Когда я думаю о каком-нибудь поэте, то в памяти моей (правда, весьма слабой на стихи) прежде всего возникают не строки, а звучание, не слова, а мелодия, ритм, наиболее характерные для поэта. При мысли о Пастернаке слышу вот что: «та-та-ТА-та-та ТА-та-та та-та-ТА-та-та ТА-та...» Слова вертятся в голове, но, лишь порывшись в сборнике, могу их воспроизвести:

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка²...

А иногда звучит совсем другое: «та-ТА-та-та та-та-та-ТА та-ТА-та-та та-ТА та-ТА-та...». Что это? Беру в руки книгу и, полистав, читаю:

В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки³...

Пастернаковская музыка богата и разнообразна, но она всегда пастернаковская, и, слыша ее, чувствую, пользуясь словами другого поэта, «сердцебиение при звуке⁴». И вовсе не потому, что Пастернак для меня самый-самый. У меня не было с его поэзией того романа, какой был в 1971-м с Заболоцким или позже с Г. Ивановым. Напротив, я никогда не могла читать его подряд, быстро уставая от бешеного напора и густой образности. И тем не менее он – часть меня.

Кто-то сказал, что невозможно по-настоящему понять поэта, не пожив в его родных краях, не подышав тем воздухом, каким дышал он. Возможно, это преувеличение, но доля истины здесь есть. Пастернаковская поэзия, его московское аканье, его многочисленные гласные, похожие на распахнутые окна, в которые «врывается весна нахрапом» или бесшумно влетает тополиный пух – это мое московское и подмосковное детство, моя ранняя юность с ее романтикой, захлебом и мгновенными перепадами настроения.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колыхнется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят⁵...

² Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Лето в городе».

³ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Земля».

⁴ Строка из стихотворения Арсения Тарковского «Как сорок лет тому назад...».

⁵ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Лето в городе».

Летом 1954 года мы снимали дачу в Переделкине неподалеку от писательского городка, и почти каждый день я приходила на тихую улицу Павленко, чтобы там, не опасаясь машин, учиться кататься на велосипеде. Я доезжала до трансформаторной будки, неуверенно разворачивалась и ехала обратно мимо дачи Пастернака до конца аллеи. И так много часов подряд. Что я знала тогда о поэте, чью улицу изучила до мельчайших подробностей? Да ничего существенного. Только то, что он известный, что в нашем книжном шкафу стоят его сборники, что катаюсь мимо его дачи. Причем с каждым разом все ловчей, быстрее, уверенней. И в конце концов я, как птенец из гнезда, вылетела с тихой и безопасной улицы Павленко на простор, чтоб, пытаясь опередить поезд, с ветерком промчаться по откосу на станцию и встретить маму.

В том же 1954-м, когда мы с мамой прогуливались под летним дождичком, нашу тропу пересек человек в плаще и резиновых сапогах. Мама быстро сжала мне руку, как она всегда делала, когда хотела незаметно привлечь к чему-то или кому-то мое внимание. «Корней Иванович», – крикнул человек в плаще, подойдя к забору дачи Чуковского. «Пастернак», – шепнула мама, когда мы отошли на несколько шагов. Вот, собственно, и все мои ранние впечатления, связанные с Пастернаком. Мало? Мало. Но и бесконечно много, если учесть восприимчивый полудетский возраст. Эти «мимолетности» очнулись во мне позже, когда я, сняв с нашей полки сборник, наконец-то прочла:

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной⁶...

Но, как выяснилось много лет спустя, в конце 1970-х, с поэзией Пастернака меня связывало нечто гораздо большее, чем полудетские впечатления. Оказывается, «сердцебиение при звуке» – это у меня от отца, которого я не знала. О любви отца к поэзии и, в особенности, к Пастернаку рассказывали мне все, с кем я о нем говорила. «Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях», – писал мне его бывший сокурсник. «Миша был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть... А Пастернаку готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно», – вспоминал другой его приятель.

Не потому ли у меня и не случился роман с Пастернаком, что отец «переболел» им еще до моего рождения, оставив мне лишь память об этой «высокой болезни»? Не потому ли я не помню стихов наизусть, что их слишком хорошо помнил отец? Настолько хорошо, что это мешало ему писать собственные, которые он никогда никому не показывал, а впоследствии уничтожил? Не завещал ли он мне, памятуя о своем горьком опыте, это странное свойство – забывая слова, помнить звук?

Поэзия Пастернака – это молодость моих родителей, безумная любовь отца к маме, любовь, толкнувшая его на гибельный шаг. Я написала об этом в воспоминаниях об отце. «Ты – благо гибельного шага», – написал Пастернак в 1949-м, но я читаю эту строку так, будто она – об отце, о любви, стоившей ему жизни.

⁶ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Ветер».

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски⁷...

А это – о маме. О моей лукавой, взбалмошной, веселой, несчастной маме, которая любила, забравшись с ногами на диван, помечтать вслух, пофантазировать. Ну, хотя бы о том, как в один прекрасный день ей, отлученной в эпоху космополитизма от журналистской работы, вдруг каким-то чудом снова удастся оказаться в своей стихии. И если во время этих грез раздавался телефонный звонок, мама, сняв трубку, произносила коротко и по-деловому: «Редакция». Конечно же, это была игра, театр для себя, без которого она не могла жить.

30 мая – день маминого рождения, праздник, который всегда отмечался пышно. Хотя бы потому что комната была заставлена пышными букетами сирени. 30 мая – это гости, звонки, поздравления, музыка, застолье. Так было каждую весну. Так было и в 1960-м. Но на следующий день на столе, с которого еще не успели снять праздничную скатерть, появилась газета, извещавшая о смерти члена литфонда Пастернака Б. Л. Все смешалось для меня: день рождения, день смерти, ощущение праздника, чувство утраты, поздравительные звонки и звонки, несущие скорбную весть. И все это на фоне сирени – густой, белой, темной, душистой.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой...
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия⁸.

Отец, его любовь и гибель, мамины фантазии, ее праздники, ее сирень... При чем здесь Пастернак? Да при всем. Потому-то и возникает у меня особое щемящее ностальгическое чувство, когда я попадаю в его ауру, в его звуковое поле. Именно звуковое, так как звук первичен. На этом настаивают сами поэты:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись⁹...

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе¹⁰...

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,

⁷ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Без названия».

⁸ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Земля».

⁹ Отрывок из стихотворения Осипа Мандельштама *Silentium*.

¹⁰ Отрывок из стихотворения Владимира Набокова «Слава».

Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе...
Так начинают жить стихом¹¹.

«Тьма мелодий», глубины памяти, колодец времени – все это поток жизни, неиссякаемой и вечной, как стихи.

¹¹ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Так начинают. Года в два...».

Приложение О поэзии Ларисы Миллер

Александр Городницкий. (Из выступления на юбилейном вечере 2010 года)

Несколько слов о двух или трех особенностях Ларисы Миллер как литератора. Дело в том, что это обобщающее слово «литератор» сейчас в значительной мере утрачено. Мы живем в эпоху узкой специализации: есть поэты, есть прозаики, есть критики и так далее. А Лариса Миллер являет собой удивительный пример интеллектуальной культуры и объединения разных талантов и разных ипостасей...

Давайте попробуем понять, в чем неповторимая поэтическая индивидуальность поэта Ларисы Миллер. Обратите внимание, что стихи очень короткие. Это почти танка, я бы сказал танка удвоенная. Они практически лишены сложных метафор. Но они невольно проникают в душу. В чем же дело? Сравнение с танкой не случайно. Танка – это не только форма, ее смысл в религии созерцания, синтоистском умении наблюдать за окружающим миром, неспешно его наблюдать. Я не знаю, может быть Переделкино лучшее место для такого наблюдения. В Москве как-то это ни у кого не получается.

В стихах Ларисы Миллер весь круг мироздания, в этих коротких зарисовках вмещается всё – от птиц до чувств. И создается неповторимый поэтический мир. Ее стихи можно узнать сразу. Такое воплощение синтоистской японской системы не очень типично для русской поэзии. Я не беру крайний случай моего друга Игоря Губермана, это совсем другой поворот, это ироническая поэзия. Но в серьезной философской поэзии мы не избалованы такими примерами. Тем более ценен вклад Ларисы Миллер.

Но Лариса обладает еще одним удивительным талантом. Это талант эссеиста, талант мемуариста. Я много читал о моем любимом поэте Арсении Александровиче Тарковском. Я никогда не читал ничего равного пронзительным воспоминаниям Ларисы Миллер.

Когда читаешь ее эссе – о поэтах, поэзии, о кино, вообще о жизни, всегда видно, что это проза поэта. Где грань между прозой и стихами? В чем содержание стихотворения и поэтическая музыка прозы? Существует ли такая грань? Замечательный поэт Давид Самойлов говорил: «сюжета у тебя нет в стихах, но филе есть». Под словом «филе» он имел в виду поэтическую правду. В ее прозе есть поэтическая правда. Прозаик Лариса Миллер, поэт Лариса Миллер – два звена по существу одной цепи.

Всё это в совокупности и образует то удивительное литературное явление, которое называется Лариса Миллер.

Павел Крючков¹². «Живу на свету»

Когда я спрашиваю о первом читательском впечатлении от поэзии Ларисы Миллер – то почти непременно слышу о чуде *простоты* и особом обаянии её личной стихотворной тайны. Многие стихи Ларисы Емельяновны зачастую кажутся даже и не написанными, а слово бы жившими всегда. Здесь почти не встретишь замысловатых рифм, неожиданных сравнений и броских парадоксов: они текучи, как свет, простодушно откровенны и вместе с тем очень целомудренны. Какая-то неизъяснимая мудрая «детскость» и детская умудрённость отражаются тут друг в друге. Точно замечено, что каждый её лирический этюд – суть рассказ, при том, что сюжетная линия обозначена почти незаметно, бережно и легко, акварельными мазками. Ласточке не нужно примеривать орлиное оперение: и Лариса Миллер издавна держится своей канонической стихотворной формы: шесть, восемь, двенадцать строк. И в этом тоже есть её загадка. Другой бы пустился в эксперимент, ударился в панику, – как же так, «застой» крови, короткое дыхание...

А Фет, а Тютчев, а поздний Георгий Иванов?

В том-то и дело, что Ларисе Миллер, как мне кажется, совершенно не нужны никакие эксперименты, – её поэтическая вселенная, казалось бы, ограниченная объёмом, – на самом деле – бездонна, потому что развитие волнующих её тем измеряется высотой духа и глубиной чувства. Это проявляется почти в любом, даже в таком, на первый взгляд, невинном стихотворении, как в этюде, посвященном мультфильму «Ёжик в тумане»: «...Узелок – молодец. Он умеет белеть. / Пёс добрейший принёс его ёжику в пасти. / Всё здесь временно. Временны даже напасти. / И неважно, что там у судьбы на уме. / Наше дело – светиться, светиться во тьме».

Ларису Миллер привечали, любили её стихи и проникновенно писали о них наши выдающиеся поэты Арсений Тарковский и Владимир Соколов, мыслители Григорий Померанц и Наталья Леонидовна Трауберг... А ещё Ларисе навсегда повезло со своим «обычным» читателем, – давно и благодарно тянущимся вместе со стихами поэта к Тому самому Свету, смысл которого мы открываем в себе каждый день.

¹² Редактор Отдела поэзии «Нового мира» (Журнал «Фома», № 6, июнь 2012 года)

Анатолий Розенцвейг. Из статьи «Я – современник Ларисы Миллер. Заметки благодарного читателя»¹³

Более полувека назад мы с Ларисой Миллер учились на одном курсе московского Института иностранных языков. Потом был очень долгий перерыв в общении, которое возобновилось в 2000-х – теперь уже через океан. С тех пор ее стихи стали существенно определять моё бытие – сделались для меня сверхценными[i].

Хочу пояснить свою основную выведенную в заголовок мысль: «Я – современник Ларисы Миллер». Она не оригинальна: Арсений Тарковский еще в 1973 году написал на подаренных Ларисе фетовских «Вечерних огнях»: «Милой Ларисе – единственной в России, кому Фет под стать». О «переключке» стихов Ларисы Миллер с «золотым веком» русской поэзии писали многие. О том же – о «пушкинской, тютчевской, фетовской загадке», о том, что «такая поэзия никогда не устаревает» и что Лариса Миллер «продолжает эту традицию сегодня», шла речь в ходатайстве «Нового мира» при выдвижении Ларисы на Государственную премию 1999 года.

Мне очень близки эти слова о «загадке». Я убежден, что «поверить алгеброй гармонию» нельзя, невозможно. В том же ключе о стихах Ларисы высказался Юрий Ряшенцев: «Когда я слушаю стихи Ларисы Миллер, то возникает загадка. Где те средства, которыми она добивается успеха, успеха у меня – читателя?.. Я почти не знаю людей, которые писали бы стихи настолько загадочно. Этот поэтический аскетизм поразителен и доступен только очень талантливым людям» («Литературная газета», 19.02.1997).

Таковы мнения профессионалов. Я же, читатель, рад тому, что едва ли не ежедневно просматривая блог, а по сути дела – уникальный поэтический проект Ларисы Миллер под названием «Стихи гуськом», в котором каждый день вот уже более четырех лет подряд она помещает одно-два стихотворения, постоянно встречаю там единомышленников. Из их проникновенных отзывов о стихах Ларисы не могу не процитировать пару примеров: «Ваши стихи надо читать по утрам на чистую душу»; «Стихи Миллер полны аллюзий, вызывающих у читателя собственные образы. Воздействие ее поэзии на нервную систему запредельно. Разве это – простота?». Поразительно, что примерно те же слова появились в рецензии на англоязычную книгу стихов Миллер «Guests of Eternity» («Гости вечности»): «Если переводы стихов Миллер способны вас взволновать, то их русские оригиналы потрясают».

Парадокс заключенной в стихах Л. Миллер «загадки» видится мне в том, что свои «загадочные» приемы она не прячет – вот они, на поверхности, налицо в каждом стихотворении. Но при этом настолько безыскусны, естественны, что читатели «проглатывают» их, не замечая, стремительно, на одном дыхании, не отдавая себе отчёта в истоках невольно возникающего гипноза. Если уникальность явления воспринимается безотчётно, то, может быть, её можно хотя бы проиллюстрировать на материале трех юбилейных книг Ларисы Миллер, о которых сказано вначале.

Основа вышедшего в Москве сборника «Намек на благодать» – новые стихи 2013 и 2014 годов. И здесь то же самое «легкое дыхание», невероятный лаконизм и музыка слова, но еще и мудрость, и, безусловно, ударные концовки Ларисы Миллер, которые, как она сама мне рассказывала, Тарковский демонстрировал стремительным зигзагообразным движением руки:

«Ты – колыбель, я – сон младенца» («Да перестань ты, жизнь, кончаться»);

«Вы только мне скажите – раздеваться / Или в котёл в одежде можно лезть?» («А вот бы мне нырнуть в те три котла»);

«Пытаясь высоту набрать / И Господа переиграть» («И на тропу и на крыльцо»);

¹³ Журнал «Новый берег», 27.12.2015

«И сентябрь дождливый от радости плачет» («Мы уедем, а дятел всё будет стучать»).

А кто еще придумал праздновать «годовщину... ветра, порыва его» («Что ни сутки, то круглая дата»)?

14 июня в Москве в «НГ Ex Libris» вышла вполне доброжелательная рецензия Виталия Науменко на книгу «Намек на благодать». Однако аудитория Ларисы Миллер почему-то характеризуется в ней как «по преимуществу читательницы», хотя «женская поэзия» – это последнее что можно сказать о стихах Ларисы Миллер. И далее: «По сути, это почти уходящий род "философской лирики"». И это о стихах поистине вечных – без кавычек. Странно, однако, что автор рецензии не заметил в книге библейской силы строки «Почему задохнувшийся Корчак / Нам дышать помогает и жить»:

* * *

Можно вычислить время прилива,
Скорость ветра и силу его,
Но захочешь понять, чем всё живо,
И опять не поймешь ничего.
Не поймешь, где тот скрытый моторчик,
Не дающий здесь всё сокрушить,
Почему задохнувшийся Корчак
Нам дышать помогает и жить.

Вот он «секрет»: заложен в игре слов «задохнувшийся – дышать», которой читатель не замечает, не в силах заметить из-за предельной естественности, трагизма, неожиданной глубины мысли!

Подобных словосочетаний, игры слов, афоризмов, разговорных оборотов у Ларисы Миллер множество, они и формируют плоть стиха. Я уж не говорю о тонкой укладке рифм, тем более об «опасном» употреблении рифм глагольных: «нырять-терять» («А эта снежная пыльца»); «лизнуть-улизнуть» («Не обладаю нужной хваткой»); «доказать-наказать» («Я сообщу вам потрясающую весть»); «промочу-заплачу» («Гуляйте, пейте. Я плачу»). Даже из этого короткого перечня видно, откуда взялся популярный тезис, мол, «глагольная рифма – моветон». Правда, оппоненты этого тезиса в ответ обильно цитируют Пушкина, которому «можно». Так вот Ларисе Миллер тоже можно:

* * *

«Гуляйте, пейте. Я плачу», —
Вот так я говорю лучу,
Теням танцующим и свету,
Кустам цветущим, то есть лету,
Которое продлить хочу.

За луч, скользнувший по плечу,
За луг, где ноги промочу,
За белизну июньской ночи, —
Я жизнью, что ещё короче
За лето станет, заплачу.

Такие стихи только прочитываются быстро, а в душе потом остаются надолго, если не навсегда, удивляя своей бытийной емкостью – способностью уместить в нескольких строках всю бесконечность бытия.

Автор рецензии противопоставляет «простой и понятный» язык Ларисы Миллер современным поэтическим изыскам, справедливо замечая, что «прием не равен мастерству». Мастерство тут налицо, но неуместны определения «простой», «понятный» – они о чем-то совсем другом. Простые вещи воспроизводимы, а симитировать Ларису Миллер вряд ли кто сможет.

И насчет «понятности» очень сомнительно. Да, в стихах Ларисы Миллер много простых природных реалий: травы, птички, ветерок, времена года, ночи, дни... Всё, казалось бы, совершенно понятно и знакомо – это если скользить по поверхности, если воспринимать эти стихи как красивые иллюстрации природных явлений. Только ведь для Ларисы Миллер всё это – символы, за которыми глубина, бездонность. Осознать эту глубину сразу, с первого прочтения, не всем дано:

* * *

Ну вот опять и я и лето,
И гром, и дождик проливной,
И день, ушедший от ответа
На тот вопрос, что задан мной —
Мол, как, какими, мол, ветрами,
Судьбами нас на этот свет... —
И блики на оконной раме,
Вновь заменившие ответ.

Разумеется, ответа на вечные вопросы («какими, мол, ветрами?» и зачем «нас на этот свет»?) нет и у Ларисы Миллер, но каким-то чудом ее стихи, подобные приведенному выше, сами выступают подчас искомым ответом.

Поскольку поэт живет во времени, он не может не откликаться на происходящее вокруг. Есть такие стихи и в книге «Намек на благодать», например, стих от июля 2014 года с эпиграфом «Жертвам безумной распри посвящаю» («А люди всё бегут, бегут... А в них стреляют и стреляют», и нельзя спрятаться даже «в облаках»). Процент «гражданских» стихов у Ларисы Миллер невелик, зато какие это стихи! Я живу в США. Три года назад смотрю по телевизору репортаж из Москвы о демонстрации оппозиции и вдруг вижу плакат с броскими строками, знакомыми ранее по «Новой газете»: «А Россия уроков своих никогда не учила» (кстати, опубликовано оно во всех трех юбилейных книгах – на русском, на английском и на итальянском языках).

«Времена не выбирают, / В них живут и умирают» (А. Кушнер). У Ларисы Миллер то же высказано своими невероятной глубины словами:

* * *

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
А отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: «Ждёт меня беда?»,

А мне в ответ – раскатистое «Да».
«Какие годы лучшие на свете?», —
Я спрашиваю. Отвечают: «Эти».

В книге «Намек на благодать» есть пленительные «Стихи прежних лет». Одним из них я хочу завершить свою заметку:

* * *

И проступает одно сквозь другое.
Злое и чуждое сквозь дорогое,
Гольная правда сквозь голый муляж,
Незащищенность сквозь грубый кураж;
Старый рисунок сквозь свежую краску,
Давняя горечь сквозь тихую ласку;
Сквозь безразличие жар и любовь,
Как сквозь повязку горячая кровь.

Юрий Орлицкий. «Хочу остаться живой до самой смерти»¹⁴ (о стихах Ларисы Миллер)

Эти слова Лариса Миллер сказала в беседе с Ингой Кузнецовой чуть больше десяти лет назад.

Есть поэты, которые словно бы присутствовали всегда. По крайней мере, какое бы время ни вспомнилось, они уже были: писали сами и о них кто-то писал. Такой устойчивый, ровный, успокаивающий фон: раз они есть, значит, все в порядке.

Один из таких поэтов – Лариса Миллер, книги которой в последние годы выходят в свет с завидным постоянством и никогда не разочаровывают. Живой, в общем, классик.

Но так, разумеется, было не всегда. Вспоминаю первые публикации в журналах и альманахах, откуда мы с друзьями их перепечатывали на машинке – и тоже никогда не разочаровывались. Еще бы: ведь имя этой поэтессы было под защитой авторитета самого великого Тарковского!

Вот что он писал о ней в далеком 1978 году в московском «Дне поэзии»: «Л. Миллер поэт гармонического стихотворения, а это было и будет драгоценностью во все времена. Язык ее поэзии – чистый и ясный до прозрачности литературный русский язык, которому для выразительности не нужно ни неологизмов, ни словечек из областных словарей; у нее нет ничего общего ни с футуризмом, ни с вычурностью какой-нибудь другой поэтической школы минувших лет. Это вполне современная нам реалистическая поэзия, а именно такая поэзия – на мой (читателя) взгляд особенно калорийна. Стихотворение Л. Миллер не хочет стать ни песней, ни живописью, ни ораторской речью повышенного тона. Л. Миллер говорит с читателем доверительно и доверчиво, как добрый и верный друг, ожидающий взаимного доверия в ответ на свои признания, на свою искренность и убежденность».

Теперь сравним несколько дат: первые стихи на сайте поэтессы датированы 1963 годом, первая ее публикация с предисловием Владимира Соколова появилась в «Литературной России» в 1971 году, первая книга вышла в 1977-м. Современным молодым авторам такие промежуточки абсолютно непонятны: только начал сочинять – напечатался (благо есть где), собрал три десятка наиболее удачных, на свой взгляд и взгляд друзей, стихотворений – вот и книга готова. А в Интернете вообще в тот же день можно опубликоваться – и сразу же получить живой и чаще всего доброжелательный отклик бесчисленных «друзей».

Впрочем, я уверен, что Лариса Миллер и в наши дни долго ждала бы, не торопилась «в поэты»: ее стихи всегда по-хорошему «выдержаны» – как те цветаевские «драгоценные вина».

Надо сказать, в свое время поэту пришла в голову удачная идея: завершить свое избранное 2004 года подборкой отзывов на стихи и журнальные публикации, написанных разными людьми в разные годы. Кого только нет среди авторов: упомянутые уже Тарковский и Соколов, Лев Озеров, Григорий Померанц, Зинаида Миркина, Наталья Трауберг, Татьяна Бек, Александр Зорин... Уже по этому списку ясно, чей она поэт, Лариса Миллер, кто ее читает и любит.

Однако не только этому кругу либеральных интеллигентов-шести— и семидесятников близки и понятны ее стихи: Лариса Миллер пишет просто и вместе с тем изысканно, апеллирует одновременно к чувствам и к разуму. Причем апеллирует убедительно:

Все рифмуется со всем —
С ночью день, с водою суша,
То звончей они, то глуше

¹⁴ «Арион», № 1, 2016.

Эти рифмы кровных тем.
Вечно к суше льнет вода,
Тьму пронзает стук колесный —
Рифмой парной, перекрестной
Окольцованы года.
И мелькают тьма и свет,
Как рифмованные строки,
И безумец одинокий
Все рифмует «да» и «нет».

Пристрастие к традиционной поэтике, к строгой спокойной силлаботонике и непрменной рифме – особенность стихов Миллер, неоднократно отмечавшаяся критиками и коллегами. Сегодня это качество неожиданно стало редким, особенно в настоящей, серьезной поэзии: верлибр намного привычнее, а «классику» решительно предпочитают графоманы из Сети.

Для своей строгой поэзии Лариса Миллер раз и навсегда нашла идеальный «формат»: лирическую миниатюру. Об этом еще Лев Озеров написал в 1971 году: «Четыре— восемь строк. Иногда – двенадцать. Реже – шестнадцать. И совсем редко – двадцать. Эту цифирь привожу для того, чтобы сказать: человек запрещает себе многословие.

Поэзия – речь огромной концентрации и напряжения. На малом плацдарме она ведет большие бои. Не зря в прошлом веке каждое – самое малое стихотворение – именовали "пьеса". Да, иная миниатюра под рукой мастера становится драматическим действием в трех или четырех актах, да еще и с прологом, и эпилогом...»

При этом надо сказать, что все без исключения «пьесы» Миллер «держат» единый уровень качества – так что в буквальном смысле можно открывать ее книги наугад, и...

Ночь за окном. Эта ночь за окном...
Что ни скажу я – всегда об одном,
Что ни скажу я, как полночь, старо...
Жизнь невесома, как птичье перо.
Веришь мне? Верь, будто жизнь весела.
Ночь за окном, но снежинка бела,
Вот она вьется, летается ей
Возле неярких ночных фонарей...
Все образуется. Веришь мне? Верь.
Было достаточно слез и потерь...
Видишь, в окно мое светит звезда?
Все образуется. Веришь мне, да?

Это Миллер писала в 2004 м. А вот под этим стихотворением стоит совсем другая дата – 1965 год:

Стынут стекла телефонных будок,
На замке газетные ларьки,
Засветились малые мирки,
На земле ни грохота, ни гуда,

Будто не бывало войн и бед.
Слышу, как шуршат страницы,
Вижу, как на мир ложится

От настольной лампы тихий свет.

Ясно, что написаны оба стихотворения одним и тем же человеком. А вот в то, что между датами их написания – более сорока лет, поверить трудно: та же любовь к миру, то же умение и желание любоваться его неизбежной красотой, тот же спокойный, взвешенный взгляд на мир...

Но иногда:

А Россия уроков своих никогда не учила,
Да и ран своих толком она никогда не лечила,
И любая из них воспаляется, кровоточит,
И обида грызет, и вина костью в горле торчит.
Новый век для России не стал ни эпохой, ни новью.
Матерится она, и ярится, и кашляет кровью.

Это написано в 2011-м. А рядом в книге – стихотворение, датированное 1988-м:

Предъявите своих мертвецов:
Убиенных мужей и отцов.
Их сегодня хоронят прилюдно.
Бестелесных доставить нетрудно.
Тени движутся с разных концов.
Их убийца – не смерч, не чума, —
Диктатура сошедших с ума.
Их палач – не чума, не холера,
А неслыханно новая эра,
О которой писали тома.
Не бывает ненужных времен.
Но поведай мне, коли умен,
В чем достоинство, слава и сила
Той эпохи, что жгла и косила
Миллионы под шелест знамен.

На первый взгляд может показаться, что это написано про тогда. Или все-таки про всегда:

Россия, ты же не даешь себя любить.
Ты так стараешься домучить нас, добить
И доказать нам, что тебе мы не нужны.
Но, Боже, как же небеса твои нежны!
Но как к нам ластится и льнет твоя трава!
Но как звучат твои волшебные слова!

Горькое начало – и пронзительно светлый конец. Не только мир и покой, но и постоянное осознание противоречивости мира, его сложности и... опасности.

Действительно, в последние годы в стихах Миллер все чаще мелькают нотки понятного пессимизма. Но книги ее по-прежнему называются оптимистически: «Праздники по будням» (2013), «Намек на благодать» (2015). Впрочем, как и ранние: «Ступени света» (1993), «Сплошные праздники» (1998), «Где хорошо? Повсюду и нигде...» (2004).

Но это не простой оптимизм, а, если можно сказать, выстраданный, обеспеченный жизненным опытом, опытом всех человеческих чувств:

Всем трудно, всем – собакам, лошадям,
Деревьям, травам – всем без исключения.
И нам, конечно. Жить – и приключение,
И риск большой, как бегать по путям,
Где поезда. Все ж стоит рисковать.
Ведь только здесь и может отыскаться
Возможность приласкать и приласкаться,
И рук родных из рук не выпускать.

И действительно, у такой позиции есть и объяснение, и оправдание:

Я так давно живу, так жить привыкла,
Я ко всему живому так привыкла,
Так полюбила эту круговерть,
Что позабыла, что бывает смерть,
Которая придет и пыл остудит.
Надеюсь, и она меня забудет.

Вернемся к интервью, строчкой из которого названа эта заметка. Завершается оно таким словами: «Потребность в новизне и отсутствие будущего – вот узел, которого я никак не могу развязать... Но надеюсь...» Поэт и должен надеяться. А новизна ради новизны – вещь не такая уж обязательная. Тем более в случае Ларисы Миллер, о которой Александр Городницкий говорил: «В этих коротких зарисовках вмещается все – от птиц до чувств. И создается неповторимый поэтический мир. Ее стихи можно узнать сразу... В серьезной философской поэзии мы не избалованы такими примерами».